

ГЛАВА V.

Эпоха официальнаго мѣщанства.

(1825—1855 г.).

Гоголь, Гончаровъ. Лишніе люди.

Русская интеллигенція двадцатыхъ годовъ была разгромлена; «нѣжный ростокъ русской гражданственности» былъ вырванъ съ корнемъ. На нивѣ русской интеллигенціи остались только отдѣльные колосья; остались, какъ послѣ бурелома въ лѣсу, только одинокія, сиротливо стоящія деревья, обреченныя гибели. Такъ въ одиночествѣ погибли одинъ за другимъ Пушкинъ и Лермонтовъ въ борьбѣ съ окружающимъ этическимъ мѣщанствомъ. Но живыя силы проснувшейся страны—неисчерпаемы: на смѣну погибшей интеллигенціи двадцатыхъ годовъ пришло новое поколѣніе, и съ интеллигенціи тридцатыхъ годовъ начинается новая эра русской мысли и русской жизни. Творчество этой интеллигенціи наполнило собою содержаніе русской культуры второй четверти XIX-го вѣка, и это, быть можетъ, однѣ изъ самыхъ блестящихъ страницъ въ глубоко-трагической исторіи русской интеллигенціи.

Прежде чѣмъ приняться за чтеніе этихъ страницъ, намъ надо однако ближе познакомиться съ тѣмъ факторомъ, который послужилъ причиной гибели предшествующаго поколѣнія интеллигенціи, который способствовалъ гибели и Пушкина и Лермонтова. Намъ надо познакомиться съ тѣмъ *бюрократическимъ мѣщанствомъ*, которое служило почвой мѣщанству этическому и царило въ русской государственной жизни во всю николаевскую эпоху.

Главной чертой, характеризующей положение русской жизни второй четверти XIX-го вѣка, была извѣстная теорія, такъ удачно названная Пыпинымъ «теоріей официальной народности». Теорія эта подъ флагомъ «самодержавія, православія и народности» провозила контрабандой совершенно другія понятія — полное подавление личности, провозглашеніе безпредѣльной власти государства, и именно Россіи, такой, какъ она сложилась къ началу эпохи официальной народности; знаменитое изреченіе Бенкендорфа можетъ служить лучшимъ эпиграфомъ ко всей этой теоріи: «le passé de la Russie a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir — il est au delá de tout, ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer». Этимъ было фиксировано и безпощадно закрѣплено все существующее; прогрессъ объявлялся ненужнымъ и могъ заключаться развѣ только въ частныхъ поправкахъ и улучшенияхъ; могутъ улучшаться и совершенствоваться люди, исправляясь отъ вольнодумства и легкомыслія, для чего надъ ними устанавливается строгая дисциплина воспитанія, цензуры, официальной шпіонства. Русскій народъ признается стоящимъ внѣ всякихъ мѣрокъ и масштабовъ для сравненія его съ народами Западной Европы; европейскія добродѣтели для насъ пороки и обратно; высшая и національная наша добродѣтель — покорность, смиреніе, отсутствіе личности, непрекословное подчиненіе. Индивидуальность должна быть подавлена, просвѣщеніе должно приниматься въ мѣру: гораздо выше просвѣщенія, индивидуальности, даже генія стоитъ добрая нравственность, усердіе и покорность, какъ это мы узнаемъ ниже.

Подробнѣе познакомившись съ этой теоріей официальной народности, мы убѣждаемся, что въ основаніи ея лежитъ *рвзкій этический и социологическій анти-индивидуализмъ*; реальная личность признается средствомъ, и только средствомъ, и, подавляя человѣческую индивидуальность, теорія эта выдвигаетъ на первый планъ индивидуальность народа. Надо однако замѣтить, что, подавляя личность, эта теорія отнюдь не приноситъ пользы и абстрактному человѣку: эта государственная, бюрократическая теорія съ одинаковой ненавистью относится и къ личности, и къ обществу, и къ реальной индивидуальности, и къ Человѣку съ большой буквы. Человѣка и гражданина эта теорія стремилась обуздать, особенно послѣ 14-го декабря 1825 года; вслѣдствіе этого и каждой отдѣльной личности предписано было дышать и думать только такъ, какъ это указано циркулярно. Для теоріи официальной народности характерно сугубо мѣщанское стремленіе поставить всѣхъ въ одну шеренгу, выкрасить въ общій сѣрый

цвѣтъ, обстричь подъ одинаковый уровень; поэтому для теоріи этой не столько характеренъ ея рѣзкій анти-индивидуализмъ, сколько узкое и плоское мѣщанство. Основываясь на этомъ и слегка перефразируя названіе теоріи оффиціальной народности, мы будемъ говорить *о теоріи, системѣ и эпохѣ оффиціальной мѣщанства*.

Іоанномъ Предтечей системы оффиціального мѣщанства былъ несомнѣнно Павелъ I, о которомъ однако намъ незачѣмъ распространяться; его вѣрнымъ приспѣшникомъ и усерднымъ помощникомъ былъ Аракчеевъ, создавшій въ 20-хъ годахъ великолѣпный прологъ къ наступившей затѣмъ эпохѣ. Этотъ Аракчеевъ, любившій «чтобы всякая штука (будь то даже реальная личность) была смѣрена, взвѣшена, припечатана казенною или его собственною гербовою печатью, поставлена въ шеренгу, и чтобы подъ всякимъ львомъ было четко писарскою рукою подписано: се левъ, а не собака»—какъ его мѣтко характеризуетъ Михайловскій, — этотъ Аракчеевъ въ небольшомъ районѣ, ввѣренномъ его руководителству, свершилъ то, что во второй четверти XIX вѣка было свершено надъ всей Россіей въ ея цѣломъ. Великолѣпный очеркъ изъ «Исторіи одного города» Салтыкова (т. VII, стр. 153—184, изд. 1892 г.) ярче характеризуетъ Аракчеева (Угрюмъ-Бурчеевъ), чѣмъ цѣлые тома историческихъ изслѣдованій. По независящимъ отъ него условіямъ историкъ долженъ былъ умолчать о временахъ поаракчеевскихъ и ограничился только упоминаніемъ о преемникѣ Угрюмъ-Бурчеева, маіорѣ Перехватѣ-Залихватскомъ, который «въѣхалъ въ Глуповъ на бѣломъ конѣ, сжегъ гимназію и упразднилъ науки». «О семь умолчу»—кратко замѣчаетъ историкъ (VII, 18). Умолчимъ о семь и мы, но съ тѣмъ большей подробностью остановимся на самой системѣ.

Для характеристики этой системы приведемъ прежде всего нѣсколько примѣровъ и иллюстрацій, отчасти новыхъ, отчасти отмѣченныхъ раньше.

Въ концѣ 1826 г. стяжавшій печальную извѣстность Бенкендорфъ обращается къ Пушкину, сообщая, что «Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами о воспитаніи юношества» (30 сент. 1826 г.). Пушкинъ — и теорія педагогики! Общаго мало, но въ то время — время зарожденія теоріи оффиціального мѣщанства—начали проводить въ жизнь начало обезличенія; воспринявшій и усвоившій эту теорію писатель Кукольникъ съ гордостью восклицаетъ: «прикажутъ—и завтра же буду акушеромъ!» («Записки» М. Глинки). Въ своихъ безсмертныхъ «Помпадурахъ и помпадуршахъ» чиновникъ особыхъ порученій Щедринъ такъ варьируетъ эту же

110

тему: «сдѣлайте меня губернаторомъ — я буду губернаторомъ; сдѣлайте цензоромъ — я буду цензоромъ... Всѣмъ быть могу; могу даже быть командиромъ фрегата «Паллада», и если Богъ мнѣ поможетъ, то, чего добраго, выиграю морское сраженіе»... И это далеко не шаржъ... Такимъ образомъ и Пушкинъ по приказанію начальства долженъ былъ сдѣлаться педагогомъ. Онъ написалъ тогда записку «О народномъ воспитаніи» — насквозь проникнутую благонамѣреннымъ духомъ; весьма интересна резолюція, положенная на нее, и отвѣтъ Бенкендорфа Пушкину: «принятое вами правило, будто бы просвѣщеніе и геній служатъ исключительнымъ основаніемъ совершенству, есть правило опасное для общаго спокойствія... Нравственность, прилежное служеніе, усердіе предпочесть должно»... Вотъ начала, на которыхъ стала строиться теорія официальнаго мѣщанства: геній, индивидуальность — излишни; одно усердіе — все превозмогаетъ. (Соч. Пушкина V, 43—48).

Понятно само собой, какъ высоко могла стоять наука въ то время, когда усердіе предпочиталось просвѣщенію. Въ началѣ 30-хъ годовъ попечитель Московскаго университета (Голицынъ) «долго не могъ привыкнуть къ тому безпорядку, что когда профессоръ боленъ, то и лекціи нѣтъ; онъ думалъ, что слѣдующій *поочереди* долженъ былъ его замѣнять, такъ что о. Терновскому пришлось бы иной разъ читать въ клиникѣ о женскихъ болѣзняхъ, а акушеру Рихтеру — толковать безсѣменное зачатіе» (Герценъ; «Былое и думы», Лондонъ 1861 г., т. I, 134). Конечно, до этого дѣло не доходило, но интересна уже и самая тенденція государственнаго мужа насадить своеобразный «порядокъ» въ ввѣренномъ его попеченію университетѣ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что нѣкоторые профессора были достойны своего попечителя; такъ, тотъ же Герценъ рассказываетъ о нѣкомъ профессорѣ минералогіи Ловецкомъ, который разъ навсегда создалъ (очевидно для «порядка») формулярные списки всѣхъ минераловъ по одному и тому же шаблону, такъ что «характеристика иныхъ опредѣлялась отрицательно: *кристаллизациія* — не кристаллизуется; *употребленіе* — никуда не употребляется» (Ibid.; I, 163). Такая наука недалеко ушла отъ губернской статистики той же эпохи (середина 30-хъ годовъ) и знаменитыхъ сообщений изъ города Кая: «утопшихъ — 2; причины утопленія неизвѣстны — 2; итого — 4», или подъ рубрикой о нравственности городскихъ жителей: «жидовъ въ городѣ Каѣ не находилось» (Ibid.; I, 328). Несмотря на такія заполненія статистическихъ таблицъ, все-таки порядокъ былъ соблюденъ, форма торжествовала; стоило ли заботиться о содержаніи?

Начиная съ 1826-го года, государственная опека надъ индивидуальностью принимаетъ регулярный характеръ, безъ всякихъ послабленій и упущеній. И до того часто было трудно дышать, гоненія живой мысли разными Красовскими, Фотіями и Голицыными достигали часто крайняго предѣла; но тогда все это было чуть-ли не случайнымъ, по крайней мѣрѣ не было возведено въ систему; тогда могъ существовать почти конституціонный «Духъ журналовъ» (до 1819 г.) вмѣстѣ съ гоненіемъ на невиннѣйшіе стишонки какого-нибудь Олина. Теперь дѣло мѣняется. Дѣлаются нѣкоторыя частныя облегченія — такъ, на примѣръ, «чугунный цензурный уставъ 1826 г. (выработанный Шишковымъ) замѣняется болѣе мягкимъ уставомъ 1828 года; но зато теперь уже не будетъ никакихъ упущеній и послабленій; давленіе будетъ производиться во всѣхъ областяхъ регулярно и неукоснительно; оно распространится на частную жизнь всѣхъ и cadaго. Все, рѣшительно все будетъ урегулировано, занумеровано, одѣто въ узкій мундиръ, подчинено опредѣленному общему шаблону, убивающему всякое проявленіе индивидуальности.

«Мундиръ, одинъ мундиръ!»—это можно поставить эпиграфомъ къ теоріи официальнаго мѣщанства и въ буквальномъ и въ переносномъ смыслѣ, потому что дѣйствительно только одна бюрократія и военщина считалась достойной образованнаго человѣка, только въ государственной службѣ была истина: мундиръ стягивалъ все, всему была предписана своя форма. Мелкій, но характерный фактъ: тѣ немногія лица, которыя почему-либо не удостоились чести носить мундира, придумывали штатское платье совершенно одинаковаго образца, такъ что, по словамъ Герцена, «если бы показать эти батальоны одинаковыхъ сюртуковъ, плотно застегнутыхъ, щеголей на Невскомъ проспектѣ, англичанинъ принялъ бы ихъ за отрядъ полисменовъ» (Ibid., II, 183). Мундиръ и однообразіе—это страсть мѣщанства у власти, прибавляетъ къ этому Герценъ; неудивительно поэтому, что на мундиръ, погончики и петлички обращалось такое усиленное вниманіе; понятно, что вопросъ этотъ рѣшался путемъ циркулярвъ, докладовъ и канцелярской переписки. Тотъ же Герценъ рассказываетъ про одинъ циркуляръ министра юстиціи, который начинался какъ-то величаво и торжественно: «обративъ въ особенности вниманіе на недостатокъ единства въ шитьѣ и покроѣ нѣкоторыхъ мундировъ гражданскаго вѣдомства, и взявъ въ основаніе...» и т. д., и т. д. (Ibid., I, 410). Конечно, все это мелочи; но въ нихъ какъ нельзя лучше отразился весь духъ системы официальнаго мѣщанства.

Мы уже указывали, что давленіе свѣше производилось не-

укоснительно и безъ послабленій по всей линіи науки, литературы, жизни. Нельзя сказать, чтобы въ 40-хъ годахъ это давленіе было сильнѣе, чѣмъ въ концѣ 20-хъ или въ 30-хъ годахъ; оно было довольно равномернo—и въ этомъ заключалась его страшная тяжесть: оно не становилось сильнѣе, но это отнимало всякую надежду на то, что въ ближайшемъ будущемъ оно можетъ стать легче. На протяженіи почти четверти вѣка (1825—1848)—все то же давленіе, все тотъ же гнетъ надъ индивидуальностью, все та же опека. Въ самомъ началѣ эры этой системы оффиціального мѣщанства Пушкину приказываютъ сдѣлаться педагогомъ; въ томъ же 1826 году императоръ Николай дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе на экземплярѣ «Бориса Годунова»: «Я считаю, что цѣль г. Пушкина была бы выполнена, если бы съ нужнымъ очищеніемъ передѣлалъ комедію свою въ историческую повѣсть или романъ на подобіе Вальтеръ-Скотта». Пушкинъ отказался передѣлывать написанное. По поводу этого же произведенія высказало свое компетентное мнѣніе пресловутое «III Отдѣленіе», находившее, что «въ пьесѣ нѣтъ ничего цѣлаго», что все взято у Карамзина (Сухомлиновъ, «Исслѣдованія и статьи», т. II). III Отдѣленіе въ роли цѣнителя, судьи и опекуна величайшаго изъ русскихъ поэтовъ! Та же опека, то же давленіе и нѣсколько лѣтъ спустя: въ серединѣ 30-хъ годовъ правительство издаетъ «цѣлый томъ церковныхъ фасадъ, высочайше утвержденныхъ» (Герценъ, «Былое и думы»; I, 384). Это все тотъ же «мундиръ», о которомъ шла рѣчь выше; надо было все сравнять, сгладить, отнять всякую личную инициативу, надо было, какъ говоритъ Герценъ, «вездѣ и во всемъ убить всякій духъ независимости, личности, фантазіи, воли... (Id.). То же самое и въ сороковые годы. Въ 1841 г. при Академіи Наукъ учреждается печальной памяти Второе Отдѣленіе Русскаго Языка и Словесности, съ ординарными академиками Давыдовымъ, Языковымъ, Погодинымъ, митр. Филаретомъ и т. п. Прирожденные клеветы (ихъ тогда уже сформировала система) радовались, «что благодѣтельное Правительство... возстановило опеку надъ угнетеннымъ русскимъ словомъ»... (Барсуковъ, «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. VI, гл. 38). Въ сущности запоздалая радость, такъ какъ благодѣтельное правительство учредило эту опеку еще въ цензурномъ уставѣ 1826 и 1828 г., устанавливая статью о запрещеніи книгъ за дурной съ точки зрѣнія цензора слогъ. Такъ велика была забота объ интересахъ читающей публики!

Полновластно и послѣдовательно царила эта система цѣлую четверть вѣка, неукоснительно ступенчатая всѣ рѣзкіе цвѣта, сгла-

живая всѣ индивидуальности подѣ одинъ общій шаблонъ. Насколько удалось сдѣлать это системѣ оффиціального мѣщанства, мы увидимъ ниже; теперь же обратимся къ точкѣ перелома—къ 1848 году, съ которымъ наступили на Руси пятидесятые годы. Настало тяжелое семилѣтіе, но начало его было началомъ конца всей системы. Давленіе сразу и внезапно усилилось настолько, что, очевидно, не могло продолжаться слишкомъ долго; въ безпросвѣтномъ мракѣ чувствовалось приближеніе свѣта, но чтобы дождаться его, надо было пережить семь черныхъ, тяжелыхъ лѣтъ.

Февральская революція 1848 года, потрясая всю Европу, отразилась и въ Россіи—усугубленіемъ системы оффиціального мѣщанства. «Неистовый Виссаріонъ», пылкій и весь отдающийся любимой идеѣ, умиралъ въ началѣ 1848 года, съ вѣрою устремивъ взоры на Западъ; а въ Россіи въ это время начинался терроръ системы. Въ сущности терроръ этотъ былъ глубоко бесполезенъ и совершенно излишенъ для самой системы, такъ какъ Россія была въ полнѣйшей безопасности отъ зараженія «дерзкими и буйственными мудрованіями»; небольшая группа интеллигенціи, въ родѣ кружка петрашевцевъ, была настолько безопасна для правительства, что жестокое преслѣдованіе этой группы явилось тоже однимъ изъ безцѣльныхъ проявленій террора эпохи оффиціального мѣщанства. Въ Россіи все обстояло благополучно; это подтвердилъ торжественный манифестъ отъ 14-го марта 1848 года. Но въ то же время были приняты всѣ мѣры, чтобы немедленно оградиться китайской стѣной отъ Запада; 11-го марта 1848 года циркуляръ Министерства Народнаго Просвѣщенія предписалъ «пріостановленіе отпусковъ и командировокъ въ чужіе края» (Сборникъ циркуляровъ; дѣло № 100.876); недѣлю спустя издается циркуляръ «объ усугубленіи надзора по воспитанію въ учебныхъ заведеніяхъ» (циркуляръ отъ 19 марта 1848 г.; дѣло №№ 98.004 и 100.879). Начинается рядъ циркуляровъ, предупреждающихъ, пресѣкающихъ и сокращающихъ; мы остановимся на нихъ теперь, чтобы потомъ не возвращаться къ этому предмету; циркуляры эти имѣютъ большой интересъ для характеристики эпохи оффиціального мѣщанства. Укажемъ безъ особыхъ комментаріевъ на небольшіе циркуляры «о наймѣ трехъ педелей для надзора за *вольноприходящими* учениками Кіевской 2-й гимназіи» (циркуляръ отъ 2 ноября 1849 г.): это уже система оффиціально регламентированнаго шпіонства частной жизни російскихъ гражданъ. Циркуляръ отъ 31 августа 1850 г. (дѣло № 103.927) «объ усиленіи надзора за студентами Московскаго Университета изъ кавказскихъ уроженцевъ»; почему-то кавказскіе уро-

женцы оказались особенно опасными. Интересенъ далѣе циркуляръ отъ 6 февраля 1852 года: «инструкція Надзирателю за воспитанниками Харьковскаго Ветеринарнаго Училища». Надзиратель этотъ между прочимъ долженъ смотрѣть, чтобы всѣ студенты (къ слову сказать—«вольнопriходящіе») ходили въ воскресные и табельные дни «въ церковь *имѣ назначенную, а не другую*» (пунктъ 5-й); надзиратель обязанъ посѣщать «сколь возможно чаще» квартиры студентовъ, наблюдая, чтобы студенты «занимались предметами, относящимися къ ихъ наукѣ», чтобы они «не дѣлали расходовъ, превышающихъ ихъ денежные средства», чтобы не ходили другъ къ другу въ гости—«развѣ только для совмѣстнаго повторенія лекцій, и то не болѣе трехъ» (пунктъ 8-й). Такая регламентація исключительна даже для эпохи официальнаго мѣщанства. Но все-таки, познакомившись съ нею, мы вполне можемъ понять, какимъ образомъ въ это же время чиновникъ особыхъ порученій при министрѣ внутреннихъ дѣлъ Липранди могъ составить проектъ «академіи шпіонства»... (см. Герценъ, «Былое и думы»; I, 270). Тотъ же Липранди въ 1850 г. предлагалъ свои услуги для обыска всѣхъ частныхъ библіотекъ по всей Россіи (!). Сообщающій этотъ фактъ Анненковъ прибавляетъ, что само правительство «съ ужасомъ и негодованіемъ» отклонило это предложеніе (Анненковъ, «Литературныя воспоминанія», стр. 515). Ужасъ и негодованіе прибавлены, конечно, для красоты слога, такъ какъ достаточно ознакомиться съ приведеннымъ въ извлеченіи циркуляромъ отъ 6 февр. 1852 г., чтобы убѣдиться въ большомъ сходствѣ мѣръ, предлагавшихся Липранди и принимавшихся въ дѣйствительности. Этотъ «ужасъ и негодованіе» становятся особенно пикантными, когда мы узнаемъ, что, вопреки свѣдѣніямъ Анненкова, Липранди дѣйствительно былъ посланъ въ 1851 году для обыска частныхъ библіотекъ и книжныхъ лавокъ (см. Барсуковъ, «Жизнь и труды Погодина», т. XV, стр. 196).

Ограничиваемся этими примѣрами, но замѣтимъ еще разъ кстати, что рядъ циркуляровъ 1848—1855 годовъ нельзя считать слѣдствіемъ однихъ только событій 1848 года. Событія этого года дали поводъ къ чрезмѣрному усиленію давно примѣняемой системы, полно и краснорѣчиво выразившейся уже въ знаменитомъ циркулярѣ отъ 30-го мая 1847 года, этомъ ясномъ манифестѣ началъ официальной народности. Чтобы покончить съ характерными циркулярами М-ва Нар. Просвѣщенія, мы укажемъ на циркуляръ отъ 30-го іюня 1854 г., интересный для нагляднаго пониманія той безконечной опеки, которая выразилась въ колоссальной централизаціи, ярко проявившейся въ эпоху

официальнаго мѣщанства; циркуляръ этотъ разрѣшаетъ священнику въ *Якутскомъ уѣздномъ училищѣ* объяснять ученикамъ церковныя службы—«разъ въ недѣлю», предусмотрительно добавляетъ циркуляръ! Такой регламентаціи, такого отсутствія самодѣятельности въ Россіи не бывало со временъ царствованія императора Павла I-го. Результатъ очевиденъ: полное подавленіе инициативы, индивидуальности и пышный расцвѣтъ бюрократизма, канцелярщины, бумагопроизводства. Все тонуло подъ грудой входящихъ и исходящихъ, сообщеній, донесеній и циркуляровъ; наконецъ само правительство почувствовало это: нельзя не отмѣтить попытки сокращенія дѣлопроизводства. Конечно, дѣло окончилось ничѣмъ: единственнымъ средствомъ сокращенія переписки было бы установленіе и расширеніе общественной самодѣятельности въ опредѣленныхъ вопросахъ областей, провинцій, губерній и уѣздовъ. Но это средство было бы самоубійствомъ всей системы официальнаго мѣщанства; поэтому начали изыскиваться «мѣры къ сокращенію излишней переписки» (циркуляръ отъ 13-го сент. 1851 г.); вопросъ о сокращеніи дѣлопроизводства началъ разсматриваться особымъ «учрежденнымъ для того Комитетомъ» (цирк. отъ 24 мая 1851 г.), который нашелъ главную мѣру, выразившуюся въ особомъ законѣ «о введеніи печатныхъ бланковъ для однообразной переписки» (цирк. отъ 21 авг. 1851 г.). Мѣра эта, такъ родственная духу системы официальнаго мѣщанства, конечно, не помогла—и снова началась громаднѣйшая переписка о сокращеніи переписки: достаточно сказать, что съ мая 1851 г. по дек. 1852 г. однихъ циркулярныхъ предложеній было 20! ¹⁾). И это только въ одномъ М-вѣ Нар. Просвѣщенія! Прибавьте къ этому приблизительно постольку же въ каждомъ изъ другихъ министерствъ, а кромѣ того въ Кавказскомъ намѣстничествѣ (см. Высочайшій указъ 8 января 1849 г., №№ 22900, 23448 и т. д., и т. д.). Интереснымъ позднѣйшимъ отзвукомъ этого бумажнаго потопа и вообще всего дѣлопроизводства была небольшая анонимная брошюрка «Руководство къ наглядному изученію административнаго порядка теченія бумагъ въ Россіи», изданная въ 1858 г. и немедленно изъятая изъ продажи; рецензія Добролюбова доставила этой брошюркѣ громадную извѣстность (см. «Современникъ» 1859 г., № 4).

Изученіе циркуляровъ нѣсколько вырисовываетъ общій характеръ эпохи официальнаго мѣщанства; она станетъ для насъ еще яснѣе, если мы обратимся къ исторіи цензуры той эпохи. Весьма

¹⁾ Циркуляры отъ [11, 12, 13, 17 (два), 24 (два) мая, 14; 17 июня; 20 (три) июля; 21 авг.; 13 сент.; 22 окт. 1851 г.; 25 февр.; 11 июня; 22 дек. 1852 г., да еще «Положеніе о сокращеніи», утвержденное 28 янв. 1852 г.

часто и раньше цензурный гнетъ доходилъ до степеней маловѣроятныхъ, особенно во время quasi-мистическаго обскурантизма Голицына, который

Въ угодность Господу, себѣ во утѣшенье
Усердно заглушить старался просвѣщенье...

Но въ тѣ времена тупой аракеевщины многое зависѣло отъ личности цензора, и въ то время какъ какой-нибудь Красовскій, обязанный безсмертіемъ Пушкину, запрещалъ писать о «небесной» красотѣ, «Духъ журналовъ» цѣлыя пять лѣтъ (1815—1820 г.) невозбранно, на глазахъ у всѣхъ проповѣдывалъ конституціонализмъ... Теперь дѣло мѣняется: личность цензора отходитъ на второй планъ, первое мѣсто занимаетъ всеподавляющая система. Мы не будемъ останавливаться на крайне интересныхъ фактахъ изъ исторіи цензуры 1825—1855 гг.; обширныя залежи ихъ читатель найдетъ въ «Дневникѣ» Никитенко, въ воспоминаніяхъ и перепискѣ литературныхъ дѣятелей той эпохи. Общая тенденція отношенія къ литературѣ системы оффиціального мѣщанства достаточно ясно выражается въ пожеланіи графа Уварова, министра народнаго просвѣщенія (!), «чтобы, наконецъ, русская литература прекратилась»... (1843). И дѣйствительно,

... ужъ коли зло пресѣчь,
Собрать бы книги всѣ, да сжечь...

Правда, до этого дѣло еще не дошло, но все-таки недаромъ Иванъ Кирѣевскій совѣтовалъ въ то время примириться съ мыслью, что русская литература будетъ убита на нѣсколько лѣтъ, впредь до измѣненія режима. Учрежденіе такъ называемаго бутурлинскаго «негласнаго комитета 2-го апр. 1848 г.» фактически убивало всю литературу. Достаточно сказать, что самъ министръ Уваровъ оказался въ подозрѣннн либерализма у этого всевластнаго комитета! Комитету этому были подчинены до двадцати существовавшихъ тогда отдѣльныхъ цензуръ; результаты были въ родѣ слѣдующаго: не пропущено объявленіе о выходѣ въ свѣтъ книги «Исторія Аѳинской республики», ибо заглавіе это было признано революціоннымъ; или: запрещена замѣтка о болѣзни картофеля, такъ какъ въ этомъ можно видѣть хулу противъ Промысла...

Казалось бы, что дальше идти некуда; дѣйствительность доказала противное. Стоитъ вспомнить дѣянія въ области внутренней регламентации страны, чтобы убѣдиться въ этомъ. Вспомнимъ знаменитый циркуляръ М-ва Внутр. Дѣлъ предводителямъ дворянства

(1849 г.) о томъ, что «Государю не угодно, чтобъ русскіе дворяне носили бороды... Государь считаетъ, что борода будетъ мѣшать дворянину служить по выборамъ»... Замедлившіе исполнить предписаніе Аксаковы получили его вторично черезъ полицію, послѣ чего сбрили бороды, хотя и не служили по выборамъ...

Все было регламентировано и подведено подъ шаблонъ; костюмъ, борода, усы подверглись циркулярнымъ предписаніямъ... Но оказалось возможнымъ идти и еще дальше: оказалось возможнымъ циркулярно рѣшать научные вопросы. Вотъ яркій примѣръ. Въ концѣ сороковыхъ годовъ возникъ вопросъ, — когда исполнится тысячелѣтіе Россіи, въ 1852 или 1862 году? Первое считалъ вѣрнымъ академикъ Кругъ, второе—Погодинъ. Министръ народнаго просвѣщенія обратился съ докладомъ (19 авг. 1852 г.) къ императору Николаю I-му, высказывая, что необходимо «строго держаться лѣтоисчисленія преподобнаго Нестора»; Государь Императоръ собственноручно начерталъ на докладѣ: *«того мнѣнія и Я, ибо такъ ученъ былъ въ свою молодость»*... (Барсуковъ; Id., т. XII, гл. 13). На этомъ основаніи рѣшено было считать начало Руси въ 862 г., и такимъ образомъ историческій фактъ былъ установленъ бюрократическимъ распоряженіемъ... Съ наукой не церемонились. Замѣнившій Уварова новый министр народнаго просвѣщенія, Ширинскій-Шихматовъ, началъ гоненіе на философію, заявляя, что «польза философіи не доказана, а вредъ отъ нея возможенъ», почему и были изъяты изъ преподаванія теорія познанія, метафизика и этика, какъ «несоотвѣтствующія видамъ Правительства»; указомъ 26 янв. 1850 г. курсъ философіи и психологіи въ университетахъ ограниченъ логикой и психологіей, преподаваніе коихъ поручено священникамъ (Никитенко, «Дневникъ» I, 517 и сл.)... Неудивительно, что въ такія историческія минуты можно было позавидовать «умершимъ во-время», до эпохи офіціального мѣщанства вообще (1825 — 1848), и до террора офіціального мѣщанства въ частности (1848 — 1855 г.). «Положеніе наше становится нестерпимѣе день ото дня,—писалъ въ 1850 г. Грановскій Герцену:—всякое движеніе на Западѣ отзывается у насъ стѣснительной мѣрой. Доносы идутъ тысячами... Для кадетскихъ корпусовъ составлены новыя программы. Іезуиты позавидовали бы' военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетамъ, что величіе Христа заключалось преимущественно въ покорности властямъ. Онъ выставляется образцомъ подчиненія и дисциплины... Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бѣлинскому, умершему во-время»... Грановскій говоритъ здѣсь, очевидно, не объ однѣхъ вышедшихъ тогда новыхъ програм-

махъ для кадетскихъ корпусовъ, но также и о знаменитой книгѣ извѣстнаго Я. Ростовцева «Наставленіе для преподавателей въ военно-учебныхъ заведеніяхъ» (1848 г.), въ которой встрѣчается и отмѣченное Грановскимъ требованіе представить Христа въ видѣ образца дисциплины, и рядъ изумительныхъ афоризмовъ, въ родѣ: «совѣсть нужна человѣку въ частномъ, домашнемъ быту, а на службѣ и въ гражданскихъ отношеніяхъ ее замѣняетъ *высшее начальство*»... (Любопытную исторію послѣдняго афоризма читатель найдетъ въ «Запискахъ декабриста» барона А. Е. Розена; стр. 116 по изд. 1907 г.). Такова была педагогика эпохи официальнаго мѣщанства; на этой почвѣ возросли различные педагоги, въ родѣ «рыцаря трехъ пощечинъ», пригвожденнаго впослѣдствіи Добролюбовымъ къ позорному столбу, проповѣдывавшаго подобныя же истины. «Всякая гражданская обязанность есть не что иное какъ безусловное подчиненіе нашей индивидуальной воли правительству и отечественнымъ законамъ»... «Воспитаніе и образованіе по формѣ и содержанію не что другое, какъ одно повиновеніе»... «Не разсуждай, а исполняй» — вотъ излюбленные афоризмы этихъ рыцарей трехъ пощечинъ (Миллеръ-Красовскій, «Основные законы воспитанія», 1859 г.; см. отзывъ Добролюбова объ этой книгѣ).

«Не разсуждай, а исполняй» — основная заповѣдь системы официальнаго мѣщанства. Недаромъ самъ императоръ, Николай I собственноручно начерталъ на письмѣ къ Нему министра Уварова: *«должна повиноваться, а разсужденія свои держать про себя»* (Барсуковъ; *Id.*, т. X, гл. 62). И это по справедливости могло считаться лейтъ-мотивомъ всей эпохи официальнаго мѣщанства, которую впослѣдствіи коротко и мѣтко очертилъ Некрасовъ (въ «Медвѣжьей охотѣ»):

Великій вѣкъ — великихъ мѣръ!
«Не разсуждать — повиноваться!»
Девизъ былъ общій...

Неудивительно поэтому, что вся Россія эпохи официальнаго мѣщанства представляла изъ себя, по безсмертному выраженію Михайловскаго, такой изумительный механизмъ въ видѣ нисходящей системы баръ, если смотрѣть сверху, и восходящей системы лакеевъ, если смотрѣть снизу... «Не разсуждай, а исполняй» — вѣдь это специальная барско-лакейская психологія...

Самыми общими чертами обрисовали мы систему официальнаго мѣщанства; остается спросить, достигла ли цѣли эта стройная и тяжелая система, стремившаяся разъ навсегда убить индивидуальность

обезличить человѣка, втиснуть его въ узкія рамки мѣщанства и въ мундиръ формализма? Отрицательный отвѣтъ очевиденъ. Система могла, конечно, внѣшнимъ образомъ и временно обезличить реальнаго человѣка, не давая ему возможности двигаться и дышать; система могла создать цѣлое поколѣніе людей, пропитанныхъ идеалами мѣщанства; система могла погубить цѣлое другое поколѣніе «лишнихъ людей»—этихъ лучшихъ людей своего времени. Но—и только... Бѣльшаго достигнуть было невозможно, ибо нельзя объять необъятное, нельзя угасить духъ человѣческой, нельзя вытравить изъ реальной личности индивидуальность, нельзя одѣть всѣхъ въ мѣщанскій мундиръ, — и въ этомъ направленіи всѣ попытки системы официальнаго мѣщанства должны были потерпѣть и потерпѣли самое жестокое фиаско...

Во всякомъ случаѣ результаты эпохи официальнаго мѣщанства были громадны, какъ въ прямомъ, такъ и въ обратномъ направленіи: прямые тѣ, которые звучали въ униссонъ съ самой системой; обратные результаты тѣ, которые рѣзко противорѣчили ей. Конечно, для насъ особенно важны обратные результаты, намъ важно отмѣтить, что, «перетерпѣвъ судебъ удары», русская интеллигенція не утратила духомъ, но, наоборотъ, окрѣпла и возмужала, расцвѣла пышнымъ цвѣтомъ именно въ эту страшную эпоху второй четверти XIX-го вѣка. Чѣмъ сильнѣе было давленіе мѣщанства, тѣмъ рѣзче было противодействие индивидуализма: именно въ эту эпоху официальнаго мѣщанства Пушкинъ и Лермонтовъ выставили впередъ принципъ индивидуализма и всю жизнь съ ужасомъ отчаянія боролись съ мѣщанствомъ. Мы увидимъ далѣе, что именно въ эту эпоху Гоголь заклеилъ навѣки пошлое торжествующее мѣщанство; именно въ эту эпоху сформировалась чудная, благоухающая личность Бѣлинскаго, объявившаго непримиримую войну невыносимому режиму и поставившаго человѣческую личность выше общества, выше человѣчества; именно въ эту эпоху формулируется ученіе славянофиловъ и западниковъ, характерное по своему рѣзкому анти-мѣщанству, по своему этическому и соціологическому индивидуализму. Наконецъ, именно въ эту эпоху формируется характерно анти-мѣщанское міровоззрѣніе Герцена, а безудержный государственный анархизмъ и неистовый соціологическій ультра-индивидуализмъ Бакунина является наиболѣе рѣзкимъ отвѣтомъ индивидуализма на теорію и систему эпохи официального мѣщанства.

Таковы приблизительные этапы нашего дальнѣйшаго пути; все это обратные результаты системы; ея прямые результаты были не-

сравненно менѣ важны, хотя нельзя оспаривать ихъ глубокаго отрицательнаго значенія если не для русской интеллигенціи, то для русскаго общества въ его цѣломъ. Для русской интеллигенціи эпоха официальнаго мѣщанства дала только одинъ отрицательный идейный результатъ; эпоха эта отразилась въ литературѣ апогеемъ мѣщанства въ произведеніяхъ Гончарова, а также способствовала гибели многихъ лучшихъ людей, превратившихся въ лишнихъ людей. Все остальное идейное, прямое вліяніе эпохи официальнаго мѣщанства на русскую интеллигенцію и русскую литературу было ничтожно; правда, псевдоромантизмъ былъ излюбленнымъ дѣтищемъ этой эпохи, подобно тому, какъ псевдо-классицизмъ былъ фаворитомъ эпохи «роскоши, прохлада и нѣгъ» XVIII-го столѣтія; но ни того, ни другого не спасло отъ жалкой гибели такое меценатство сильныхъ міра сего. Какой-нибудь Кукольникъ официально признавался гениальнымъ художникомъ, но это не помѣшало ему быть поглощеннымъ забвеніемъ вмѣстѣ съ концомъ эпохи официальнаго мѣщанства. Вообще русская интеллигенція реагировала только отрицательно на всѣ проявленія эпохи официальнаго мѣщанства; однако нельзя не указать на отрицательное значеніе этой эпохи для внѣшнихъ формъ жизни русской интеллигенціи и русскаго общества. Бюрократическій строй былъ окончательно закрѣпленъ этой эпохой въ Россіи XIX-го вѣка, и несмотря на упорную борьбу интеллигенціи съ мѣщанствомъ этого строя въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, онъ все же успѣлъ удержаться въ прежней своей силѣ и снова расцвѣсти пышнымъ цвѣтомъ въ послѣдней четверти XIX-го столѣтія. Мы теперь какъ-разъ присутствуемъ при послѣдней борьбѣ русской интеллигенціи съ цѣпкимъ и живучимъ официальнымъ мѣщанствомъ только-что разобранной нами эпохи...

Обо всемъ этомъ однако рѣчь еще впереди. Теперь намъ предстоитъ вернуться къ самой эпохѣ официальнаго мѣщанства и къ ея выразителямъ въ литературѣ, — къ проповѣднику и глашатаю мѣщанскихъ идеаловъ, Гончарову, и къ ихъ беспощадному сатирику, Гоголю; двумъ этимъ писателямъ посвящено окончаніе этой главы. Но сначала еще нѣсколько словъ о третьемъ писателѣ, ярче всего характеризующемъ собою всю эпоху официальнаго мѣщанства, о писателѣ весьма извѣстномъ и популярномъ, но еще не вошедшимъ, по странной несправедливости судьбы, въ исторію русской литературы. Писатель этотъ, глубоко интересный плодъ эпохи официальнаго мѣщанства, не кто иной, какъ знаменитый Козьма Прутковъ.

Козьма Прутковъ выступилъ на литературное поприще (совер-

шенно анонимно) въ расцвѣтъ эпохи и разгаръ террора официальнаго мѣщанства комедіей «Фантазія» и баснями въ «Современникѣ» 1851 г.; черезъ два года онъ выступилъ впервые подъ полнымъ своимъ именемъ, съ тѣми качествами и свойствами, которыя были созданы въ немъ эпохой официальнаго мѣщанства и которыя сдѣлали безсмертнымъ

Имя славное *Пруткова*
Имя громкое *Козьмы!*¹⁾.

Въ настоящее время уже разошелся десятокъ изданій полного собранія сочиненій Козьмы Пруткова, его имя стало безсмертнымъ, его афоризмы цитируются въ разговорной рѣчи на ряду съ отрывками изъ его басенъ, — но все-таки главное значеніе Козьмы Пруткова остается совершенно невыясненнымъ. Обыкновенно его признають талантливымъ пародистомъ, противъ чего, однако, горячо возстаютъ самъ Прутковъ въ своемъ знаменитомъ «письмѣ извѣстнаго Козьмы Пруткова къ неизвѣстному фельетонисту С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», 1854 г. (*Ibid.*, стр. 5), утверждая, что онъ пишетъ не пародіи, а подражанія... Однако ни пародіи, ни подражанія не объясняютъ того ореола безсмертія, который окружаетъ чело Козьмы Пруткова. Не въ подражаніяхъ дѣло, ибо, дѣйствительно, кто не писалъ подражаній? И многіе ли помнятъ теперь имена талантливыхъ пародистовъ К. Эврипидина (Конст. Аксаковъ), Конрада Лилиеншвагера, Аполлона Капелькина (Н. Добролюбовъ) и др.? Всѣ они почти забыты, а имя Козьмы Пруткова твердо сохранило свой вѣсъ и свое значеніе. Отчего?

Дѣло въ томъ, что основной и главный смыслъ произведеній Козьмы Пруткова—общественный; мы уже сказали, что Козьма Прутковъ былъ типичнымъ продуктомъ эпохи официальнаго мѣщанства— и въ этомъ вся причина его неумирающаго интереса и значенія. Его знаменитое качество — колоссальнѣйшая наивность — помогло ему, ничто же сумняся, фиксировать въ своихъ произведеніяхъ такія черты этой эпохи, которыя на живомъ примѣрѣ позволяютъ намъ судить о той порѣ. Козьма Прутковъ — типичный и неизбежный результатъ той эпохи, разрѣзъ пласта, по которому легче всего изучать историческія наслоенія цѣлаго періода русской жизни и литературы.

¹⁾ См. «Собр. соч.» Козьмы Пруткова, стих. «Честолюбіе». Замѣтимъ кстати, что мы оставляемъ совершенно въ сторонѣ литературную генеологию Козьмы Пруткова, полагая, что всѣмъ извѣстно, какимъ образомъ выработали этотъ литературный типъ гр. А. Толстой и братья Жемчужниковы.

«Усердіе все превозмогаеть!»—такъ гласить 84-й афоризмъ изъ его «Плодовъ раздумья»—и въ немъ вся теорія эпохи офіціального мѣщанства; еще Бенкендорфъ высказалъ эту же мысль Пушкину (см. выше); въ этомъ афоризмѣ также все основаніе литературной дѣятельности Козьмы Пруткова, писавшаго стихи, драмы, мистеріи, проекты, водевили, «историческіе матеріалы», мысли и афоризмы:—усердіе все превозмогаеть. «Прикажутъ—завтра же буду акушеромъ», говорилъ въ эту эпоху Кукольникъ; среда, создавшая такихъ Кукольниковъ, создала и Козьму Пруткова.

Мы видѣли уже всю узость этой эпохи. Личность была подавлѣна; узость казенщины сказывалась на всѣхъ мѣропріятіяхъ. Самостоятельная мысль объявлялась сумасшествіемъ (вспомнимъ Чаадаева), всякая попытка выйти изъ рамокъ подавлялась неукоснительно. И совершенно своевременной была знаменитая, часто повторяемая Козьмою Прутковымъ мысль: «никто не обниметь необъятнаго!» (аф. 3, 44, 67, 104, 160 и др.). Съ какимъ узкимъ, мѣщанскимъ самодовольствомъ повторялся и до сихъ поръ повторяется этотъ афоризмъ всѣми убѣжденными послѣдователями системы офіціального мѣщанства! Часто приходится слышать эту же мысль отъ представителей умѣренности и аккуратности, но только въ нѣсколько иной формѣ, въ пословицахъ о сверчкѣ и шесткѣ, о плети и обухѣ, о рожнѣ, о воробѣ и орлѣ... Вообще мѣщанство изобрѣтательно и находчиво пользуется народной мудростью. Козьма Прутковъ выразилъ ту же мысль, но гораздо изящнѣе и сильнѣе: «никто не обниметь необъятнаго!», или въ другомъ мѣстѣ—менѣе изящно, но еще болѣе сильно: «плюнь тому въ глаза, кто скажетъ, что можно обнять необъятное!» (аф. 104). Мысль эта чрезвычайно удобна тѣмъ, что, при желаніи, «необъятнымъ» можно считать пространство въ нѣсколько вершковъ; да такъ это и было въ узкую эпоху офіціального мѣщанства.

«Мундиръ, одинъ мундиръ!»—этотъ эпитафъ эпохи военщины и бюрократизма нашель свой отголосокъ во многихъ глубокихъ мысляхъ Козьмы Пруткова. Военщина сказала даже въ самой формѣ нѣкоторыхъ его афоризмовъ; по замѣчанію его біографа (Собр. соч., XIV) въ «Плодахъ раздумья» часто слышится военная команда: «бди!»—приказываетъ читателямъ мыслитель:—«kozyряй!», «всегда держись на чеку!», «смотри въ корни!» (аф. 5, 42, 129, 150 и др.); въ эпоху военщины и казенщины даже афоризмы звучали какъ команда у такого чуткаго мыслителя, какъ Козьма Прутковъ; къ мундиру, погончикамъ и петличкамъ онъ относился съ полнымъ благоговѣніемъ.

«Если хочешь быть красивымъ— поступи въ гусары», глубокомысленно совѣтуетъ онъ (аф. 16), и не менѣе глубокомысленно прибавляетъ: «не будь портныхъ, скажи: какъ различилъ бы ты служебныя вѣдомства?» (аф. 18). А вѣдь это дѣло важное; вѣроятно именно для того, чтобы различать служебныя вѣдомства— «человѣкъ, не будучи одѣянъ благотѣльною природою, получилъ свыше даръ портного искусства» (аф. 17). Неудивительно послѣ всего этого, что нашъ мыслитель съ полнымъ убѣжденіемъ заявляетъ, что чиновничество—одно спасеніе: «только въ государственной службѣ познаешь истину» (аф. 89); бюрократизмъ и государственность—панацея всѣхъ золъ; лучше всего было бы обезличиться окончательно, все предать во власть и на усмотрѣніе начальства—недаромъ Козьма Прутковъ глубокомысленно замѣчаетъ, что какъ было бы хорошо, «если бы дозволено было относить всѣ непріятности на казенный счетъ» (аф. 130). Мысль эта порождена эпохой официальнаго мѣщанства, когда бюрократизмъ достигъ степеней поистинѣ небывалыхъ и пытался подчинить себѣ и всѣхъ и вся—вѣдь только въ государственной службѣ можно познать истину, а такъ какъ усердіе все превозмогаетъ, то «усердный въ службѣ не долженъ бояться своего незнанія; ибо каждое новое дѣло онъ прочтетъ»... (аф. 82). Вы только вникните въ эту блестящую и тонкую логику! Неудивительно, что при такомъ благоговѣніи къ убивающему личность бюрократизму Козьма Прутковъ (уже въ 1863 г.) могъ написать знаменитый проектъ «О введеніи единомыслія въ Россіи»: онъ грустилъ по эпохѣ единомыслія и мундира. Что мундиръ для него стоялъ выше всего—объ этомъ мы уже говорили; чиновничество—страсть эпохи официальнаго мѣщанства. «Небо, усѣянное звѣздами, всегда уподоблю груди заслуженнаго генерала»—заявляетъ нашъ мыслитель (аф. 113),—и это небу честь не малая.

Всю бездну плоскости и пошлости эпохи официальнаго мѣщанства можно предполагать уже и а priori. Дѣйствительно, что могло въ то время пустить прочныя корни? Продажная, полицейская литература и журналистика Булгариныхъ, степенное мѣщанство нарождающагося поколѣнія (которому высказалъ свое благоволеніе Козьма Прутковъ, изрекши, что «степенность есть надежная пружина въ механизмѣ общежитія», аф. 158), приниженная пошлость и сервизмъ раскаявшихся либераловъ—вотъ что господствовало въ эпоху официальнаго мѣщанства. Если мы къ этой пошлости прибавимъ еще и самомнѣніе—а вѣдь они очень часто находятся вмѣстѣ,—то мы увидимъ, что Козьма Прутковъ явился типичнѣйшимъ представителемъ своей эпохи: чего-чего, а ужъ самомнѣнія и пошлости въ

немъ было за десятерыхъ. Какое великолѣпное обращеніе съ читателемъ: «смотри, читай со вниманіемъ!», «вникни въ издаваемое!», «твой доброжелатель Козьма Прутковъ»;—и вмѣстѣ съ этимъ непроницаемымъ самоувереніемъ, какія «казенныя пошлости!» (Собр. соч., XIII). Казенныя пошлости—и въ то же время непререкаемыя истины: «не все стриги, что растеть!», или «два человѣка одинаковой комплекціи дрались бы недолго, если бы сила одного превозмогла силу другого»... Или: «если на клѣткѣ слона прочтешь надпись буйволь— не вѣрь глазамъ своимъ» и т. п. (аф. 69, 70, 106 и др.). Не вспоминаются ли при этомъ глубокомысленныя философствованія различныхъ доморощенныхъ Кива Мокіевичей «звѣрь родится нагишомъ. Почему же именно нагишомъ? Почему не такъ, какъ птица: почему не вылупливается изъ яйца? Какъ право, того... совсѣмъ не поймешь природы, какъ побольше въ нее углубишься!.. Ну, а если бы слонъ родился въ яйцѣ?» и т. д. Или: «вотъ, напримѣръ, медвѣдь: звѣрь лѣсной, пространный, а хвостъ у него такъ, съ пуговку небольшую; а сорока, вотъ, птица малая, перелетная—а вишь какой хвостище нацѣпила!..» (Гоголь, «Мертвыя души»; Тургеневъ, «Разговоръ на большой дорогѣ»). Послѣ знакомства съ Козьмой Прутковымъ вся эта философія получаетъ иной смыслъ и ясное освѣщеніе, такъ какъ становится понятной ея связь съ эпохой оффиціального мѣщанства; философія казенныхъ пошлостей—лучшая характеристика всей эпохи; и если Шекспиромъ этой эпохи былъ Кукольникъ, а ея Пиндаромъ—Бенедиктовъ, то Козьма Прутковъ вполне заслуживалъ бы званія придворнаго философа этой эпохи. Къ тому же онъ въ одномъ лицѣ соединялъ всѣ таланты: своей «Фантазіей» онъ достигъ истинно-шекспировской для эпохи оффиціального мѣщанства высоты; а въ лирикѣ онъ, отгадавъ духъ эпохи, недаромъ соперничалъ со своимъ «сослуживцемъ по министерству финансовъ, г-номъ Бенедиктовымъ»... Своимъ псевдо-романтизмомъ Прутковъ былъ вѣрнымъ сыномъ эпохи... Быть можетъ, вамъ все это кажется маловажнымъ, читатель; но вы представьте себѣ все самоувереніе и всю пошлость Козьмы Пруткова воплощенными въ какой-либо власти имѣющей особѣ, съ девизомъ «не разсуждать—повиноваться!», въ какомъ-нибудь маіорѣ Перехватъ-Залихватскомъ, и подумайте о возможныхъ результатахъ. А результаты эти налицо: всеобщій крахъ 1855 года, приведшій къ паденію и самой системы оффиціального мѣщанства. Козьма Прутковъ тѣмъ-то и замѣчательнъ, какъ литературный типъ, что, обладая огромной дозой наивности, онъ сочеталъ въ себѣ всѣ основные результаты системы цѣлой четверти вѣка, и съ той же великолѣпной наивностью

и непроницаемымъ самолюбіемъ выставилъ эти результаты ярко и выпукло въ своихъ «плодахъ раздумья», а отчасти и въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ. «Многіе люди подобны колбасамъ: чѣмъ ихъ начинять, то и носятъ въ себѣ» (аф. 98),—это прекрасно примѣнимо къ самому автору изреченія: его начинили духомъ и сущностью эпохи оффиціального мѣщанства—и онъ носилъ въ себѣ это содержаніе и выразилъ его наглядно и ярко своими произведеніями и самымъ своимъ типомъ.

Этимъ мы и закончимъ знакомство съ Козьмою Прутковымъ, хотя произведенія его представляютъ еще неисчерпаемый матеріалъ интересныхъ фактовъ для характеристики эпохи оффиціального мѣщанства. Укажемъ мимоходомъ на его комедію «Фантазія», поставленную на Александринской сценѣ 8-го января 1851 г., снятую съ репертуара по Высочайшему повелѣнію 9-го января 1851 года, и впервые напечатанную (въ 1884 г.) со всѣми цензорскими пометками и съ примѣчаніями Козьмы Пруткова: это интересная страничка изъ исторіи цензурнаго террора эпохи оффиціального мѣщанства. Отсылаемъ читателя къ самой комедіи—перечитать ее всегда интересно,—а сами замѣтимъ только въ заключеніе, что недаромъ, какъ видитъ теперь читатель, Козьма Прутковъ пользуется громадной популярностью, что его произведенія—не пустая забава. «Бросая въ воду камешки,—изрекъ однажды Козьма Прутковъ,—смотри на круги ими образуемые; иначе такое бросаніе будетъ пустою забавою» (аф. 156). Этотъ великолѣпный «плодъ раздумья» должно всегда имѣть въ виду при чтеніи произведеній самого Козьмы Пруткова: при чтеніи ихъ надо обращать вниманіе на ихъ историческое и общественное значеніе, иначе такое чтеніе будетъ пустою забавою... Вообще надо «смотреть въ корень» при изученіи каждаго явленія; въ данномъ случаѣ, посмотрѣвъ въ корень, мы убѣдились, что значеніе Козьмы Пруткова гораздо серьезнѣе, чѣмъ полагаютъ обыкновенно. Козьма Прутковъ типичный представитель своего времени, онъ *живое воплощеніе главныхъ сторонъ системы оффиціального мѣщанства*; оттого-то мы и остановились на немъ такъ подробно. Баснь эту можно бы и болѣе пояснить, но, во-первыхъ, дразнить гусей не къ чему; а во-вторыхъ, тотъ же Козьма Прутковъ мудро изрекъ: «если у тебя есть фонтанъ, заткни его; дай отдохнуть и фонтану» (аф. 22).

Покончивъ съ характеристикой эпохи оффиціального мѣщанства и ея литературнаго воплощенія, мы переходимъ къ Гоголю и Гончарову, какъ къ двумъ писателямъ, явившимся наиболѣе яркимъ обратнымъ и прямымъ слѣдствіемъ и результатомъ этой эпохи. Мы не хо-

тимъ этимъ сказать, что Гоголь ненавидѣлъ систему официальнаго мѣщанства, а Гончаровъ питалъ къ ней симпатію; быть можетъ, наполовину безсознательно явились они, первый—сатирикомъ мѣщанства, второй—апологетомъ его. Апогей анти-мѣщанства Гоголя и апогей мѣщанства Гончарова оба были слѣдствіемъ (обратнымъ и прямымъ) эпохи официальнаго мѣщанства, совершенно независимо отъ воли и желанія авторовъ «Мертвыхъ душъ» и «Обломова».

Мѣщанство идетъ! — идетъ мѣщанство жизни въ русской литературѣ, только-что освободившейся отъ литературнаго мѣщанства; Гоголь вводитъ въ русскую литературу безконечный рядъ мѣщанскихъ типовъ, проходящихъ черезъ неуловимую градацію отъ идеаловъ желудка, растительной жизни, «растительности» — этого перваго этапа на пути къ мѣщанству—до идеаловъ этического мѣщанства. Впослѣдствіи и Гончаровъ противопоставилъ сознанную имъ «растительность» Обломовки несознанному имъ мѣщанству Штольца, но Гоголь первый далъ художественную картину растительныхъ идеаловъ въ безсмертныхъ типахъ старосвѣтскихъ помѣщиковъ и Петра Петровича Пѣтуха (см. II, 5—28; VI, 76 и др. ¹⁾).

Растительность—это первый этапъ къ мѣщанству, сказали мы; переходъ между ними—постепененъ и почти незамѣтенъ. Мѣщанство ли въ Тентетниковѣ, этомъ прототипѣ одновременно и Обломова, и племянника-Адуева? (ср. VI, 40—41 съ «Обыкновенной исторіей»). Мѣщане ли Собакевичъ, Плюшкинъ и имъ подобные? Отчасти, конечно, да, хотя настолько же они близки и къ растительности: для того, чтобы быть истинными мѣщанами, имъ не хватаетъ узости и безличія; такъ, несмотря на всю свою узость—не полный мѣщанинъ Скупой рыцарь, у котораго узкая страсть является всеобъемлющей, всесильной, между тѣмъ какъ истинный мѣщанинъ всегда умѣренъ и аккуратенъ, не горячъ и не холоденъ.

Но вотъ уже яркій переходъ къ мѣщанству—ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Тихая и мирная растительная жизнь въ глухой провинціи прерывается смертельною враждой двухъ закадычныхъ друзей и пріятелей; въ жизни этой, положимъ, уже и раньше проблескивали мелкія черточки мѣщанства... Иванъ Ивановичъ, скушавъ дыню, тщательно собиралъ сѣмена въ бумажку съ надписью: «сія дыня съѣдена такого-то числа» и «участвовалъ такой-то»; Иванъ Никифоровичъ, несмотря на свою шарообразность, не былъ вторымъ изданіемъ Пѣтуха, и, какъ полу-мѣщанинъ, твердо памятовалъ, что не о

¹⁾ Цитаты по XV издан. подъ ред. Тихонравова; письма по Шенроку.

хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человекъ, почему и отказался мѣнять свое ружье на откормленную бурюю свинью и два мѣшка съ овсомъ. Но это только между прочимъ; главное начинается послѣ этого эпизода, вызвавшего взаимную перебранку двухъ друзей; два неразлучныхъ друга дѣлаются смертельными врагами изъ-за одного только слова «гусакъ»... (II, 188—202).

«Великая, безконечно-великая черта художественнаго генія этотъ гусакъ!»—восклицалъ въ свое время Бѣлинскій (въ статьѣ «Горе отъ ума», 1839 г.),—что впослѣдствіи уравновѣшенный мѣщанинъ Гончаровъ призналъ комизмомъ и ребячествомъ, которое «безъ смѣха нельзя читать» (см. его «Замѣтки о личности Бѣлинскаго»). И однако неистовый Виссаріонъ былъ гораздо болѣе правъ, указывая, что вся безконечная пустота и пошлость мѣщанской жизни, вся бессмысленность ея выразились въ этомъ пустомъ и бессмысленномъ оскорбленіи; и въ то же время въ этомъ проявилась эволюція мѣщанства по направленію отъ растительной жизни. Какъ въ думаете, стали бы старосвѣтскіе помѣщики, или Петръ Петровичъ Пѣтухъ, или, наконецъ, обломовцы въ теченіе десяти лѣтъ вынимать старые дѣдовскіе карбованцы изъ сундуковъ, судиться въ теченіе десяти лѣтъ изъ-за «гусака»? Въ этомъ уже страсти—узкія, мѣщанскія, но все-таки страсти, несомѣстимыя съ мирной растительной жизнью; здѣсь впервые въ нашей литературѣ «мѣщанство идетъ», въ художественномъ отраженіи творчества поэта, въ одухотворенныхъ и живыхъ образахъ. И какъ характерно это окончаніе разсказа о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ:—«скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Намъ не было скучно, когда мы всматривались въ растительную жизнь старосвѣтскихъ помѣщиковъ; но стоило показаться мѣщанству и томительная скука, при видѣ безконечной пошлости и плоскости мѣщанской жизни, дѣйствительно овладѣла нами. Невольно вспоминается, что когда, послѣ вспышки общественности и индивидуализма 60-хъ годовъ, мѣщанство снова выступило впередъ на историческую сцену, то одна изъ наиболѣе яркихъ картинъ мѣщанства тоже была закончена авторомъ тоскливымъ восклицаніемъ: «эхъ, господа, что-то скучно!» (Помяловскій, «Молотовъ»).

Мѣщанство идетъ!—И передъ нами проходитъ цѣлая галерея рѣзко очерченныхъ типовъ и характеровъ, настолько рѣзкихъ и выпуклыхъ, что одинъ изъ позднѣйшихъ критиковъ создалъ даже цѣлую теорію безжизненности этихъ типовъ.

Вотъ Маниловъ—послѣдній могиканъ ультра-сентиментализма, съ небольшой дозой изрѣдка проявляющейся обломовщины, вѣчно чи-

тающей одну и ту же книгу съ закладкой на 14-ой страницѣ, мечтающей о томъ, какъ бы хорошо было выстроить каменный мостъ черезъ прудъ или провести подземный ходъ отъ дома; человекъ, отъ котораго не дождешься никакого живого слова, который скорѣе похожъ на сахарную куклу, чѣмъ на человека. Маниловъ — послѣдній моги-канъ сентиментализма, послѣдній ударъ приторной чувствительности отмирающей эпохи; отчасти потому онъ и мѣщанинъ съ головы до пятъ. И когда вы подойдете къ этому сентиментальному мѣщанину, то въ третью же минуту почувствуете скуку смертельную (V, 22), — ибо воочью увидите передъ собой апогей засахаренной пошлости и приторной плоскости.

Вотъ дама просто пріятная и дама пріятная во всѣхъ отноше-ніяхъ, какъ представительницы того города, главной и основной чер-той котораго является достигшая до высшей степени пустота (VI, 7); бессмысленная жизнь, сплетни, безконечные разговоры о какой-нибудь «сконапель истоаръ» (V, 178 — 188); вотъ цѣлый рядъ чиновниковъ, такъ ярко обрисованныхъ Гоголемъ сначала въ «Ревизорѣ», а затѣмъ и въ первомъ томѣ «Мертвыхъ душъ»: вообще «весь городъ, со всѣмъ вихремъ сплетней» — воплощеніе самаго типичнаго мѣщанства. Пошлая, мѣщанская жизнь и жалкая мѣщанская смерть: «пустота и безсиль-ная праздность жизни смѣняются мутною, ничего не говорящею смертью» (VI, 7) — и вась неволью охватитъ тоска, даже ужасъ передъ этой «страшной мглой жизни» мѣщанства.

Въ «Ревизорѣ» (1836 г.) ярко и выпукло выставлено мѣщанство чиновничества — и картина получилась дѣйствительно удручающая. Со-временные Гоголю «критики» — разные Брамбеусы, Булгарины и т. п. — обрушились на Гоголя за то, что въ его произведеніяхъ, а въ част-ности въ Ревизорѣ, нѣтъ ни одного свѣтлаго лица. Обвиненіе, ко-нечно, наивное, но самый фактъ отмѣченъ вѣрно: дѣйствительно — тя-гостное впечатлѣніе выносишь отъ знакомства съ этимъ безпросвѣт-нымъ мѣщанствомъ, дѣйствительно — потрясающая картина пропитан-ной бюрократизмомъ жизни Россіи встаетъ передъ нами въ «Ревизорѣ». Эта атмосфера, пропитанная взяточничествомъ, взятки отъ гнилого чернослива и борзыхъ щенковъ до сотенъ и тысячъ рублей, эта круговая порука всѣхъ за cadaго, эти мелочные интересы съ высшимъ идеаломъ — влѣзть въ генералы, эта всеобщая продажность, сгибаніе въ три погибели передъ высшимъ чиномъ и пр., и пр., и пр., — въ этомъ сказалась вся бюрократическая мѣщанская Россія второй четверти XIX-го вѣка. И совершенно напрасно пытался впоследствии Гоголь придать какое-то якобы высшее символистическое значеніе «Ре-

визору» (см. его «Развязка Ревизора», 1846 г.), сознавая, что отъ этой пьесы всякій выносить какое-то «тягостное чувство», чудовишно-мрачное впечатлѣніе» (IV, 63); это тягостное чувство при видѣ пошлой и плоской мѣщанской жизни не исчезнетъ, если мы наивно сопоставимъ ревизора съ совѣстью, а чиновниковъ—со страстями человѣка... Тягостное чувство при видѣ мѣщанской жизни — совершенно достаточный результатъ одного изъ величайшихъ произведеній автора, достигшаго апогея анти-мѣщанства.

Еще болѣе детально, чѣмъ въ «Ревизорѣ», Гоголь отгѣнилъ мѣщанство бюрократизма въ «Шинели» (1842 г.), повѣсти, отъ которой Достоевскій выводилъ всю послѣдующую русскую литературу («всѣ мы вышли изъ Шинели»), имѣя въ виду главнымъ образомъ, конечно, то мѣсто, когда жалкій Акакій Акакіевичъ умоляетъ чиновниковъ: «оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете?»—и чуткое ухо слышитъ въ этихъ словахъ другія — «я братъ твой» (III, 90). Дѣйствительно, здѣсь вы предчувствуете будущаго Достоевскаго съ его надрывомъ любви къ человѣку, къ личности; но для насъ пока важна другая сторона типа Акакія Акакіевича и творчества Гоголя, это — сторона безпредѣльнаго мѣщанства, въ изображеніи котораго талантъ Гоголя достигъ своего апогея. Передъ нами—мѣщанинъ, чиновникъ, вся жизнь котораго заключена въ канцеляріи, все наслажденіе котораго—въ перепискѣ бумагъ; ни одной мысли, ни одной страсти, ни одного чувства кромѣ этого. Для него не существуетъ ничего, кромѣ канцеляріи, кромѣ ровныхъ строкъ переписанныхъ бумагъ; даже написавшись за день всласть, «онъ ложился спать, улыбаясь заранѣе при мысли о завтрашнемъ днѣ: что-то Богъ пошлетъ переписывать завтра?» (III, 92). Вы скажете, что это утрировка типа—но всѣ типы Гоголя такая же утрировка, и въ этой выпуклости ихъ—ихъ главное значеніе. И прежде чѣмъ мы увидимъ въ Акакіи Акакіевичѣ человѣка (а увидимъ мы это только въ «Бѣдныхъ людяхъ» Достоевскаго), мы видимъ въ немъ чиновника, жизнь, загубленную канцеляріей и бумагой, общее слѣдствіе бюрократическаго мѣщанства дореформенной Россіи. Акакій Акакіевичъ—это еще мелкая сошка, первая ступень лѣстницы бюрократизма,—но общій духъ системы отражается на немъ не менѣе ясно, чѣмъ на какомъ-нибудь директорѣ департамента, его превосходительствѣ Иванѣ Петровичѣ («Утро дѣловаго человѣка», 1836 г.), весь смыслъ службы котораго заключенъ въ наблюденіи за шириной полей въ дѣловыхъ бумагахъ: «это чтò значитъ? у васъ поля по краямъ бумаги неровны. Какъ же это? Знаете ли, что васъ можно посадить подъ арестъ?» (IV, 164). Такое глубокомысленное отношеніе къ службѣ—

яркое проявленіе системы официальнаго мѣщанства; здѣсь Акакій Акакіевичъ и Иванъ Петровичъ, стоящіе на столь разныхъ ступеняхъ лѣстницы восходящихъ лакеевъ, вполнѣ сходятся другъ съ другомъ.

Своего апогея анти-мѣщанство Гоголя достигло въ первомъ томѣ «Мертвыхъ душъ» (1842 г.), изъ котораго нѣсколько типовъ затронуты нами уже выше. Никогда прежде не появлялось такой гениальной, такой удручающей душу картины человѣческой пошлости, узости, мѣщанства. Самъ Гоголь рассказываетъ, что когда онъ читалъ Пушкину «Мертвыя души», то жизнерадостный, веселый Пушкинъ «началь становится все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: — Боже, какъ грустна наша Россія!» («Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями»; VII, 78—92, 1843 г.). Самъ Гоголь объяснялъ это чудовищностью, карикатурностью своихъ типовъ — объясненіе, достойное не творца «Мертвыхъ душъ», а автора «Переписки», не понимавшаго всей силы, всей глубины правды имъ же созданныхъ типовъ. Возьмемъ наудачу какой-нибудь типъ, хотя бы, напримѣръ, полковника Кошкарева, изъ второго тома «Мертвыхъ душъ»; какъ Гоголь могъ не видѣть, что этотъ полковникъ — яркое олицетвореніе всей системы официальнаго мѣщанства на Руси? Всѣ эти «депо земледѣльческихъ орудій», «главная счетная экспедиція», «контора принятія рапортовъ и донесеній», все это бумагопроизводство, наружный порядокъ вмѣстѣ съ анархіей по существу (VI, 88—92; XII, 92—97) — вѣдь это сама жизнь, сама правда, сама официальная, дореформенная Россія. На этой почвѣ одинаково понятны и герои «Ревизора», и несчастный Акакій Акакіевичъ, и типы перваго тома «Мертвыхъ душъ» — вся та сплошная пошлость, въ рельефномъ выставленіи которой заключалась главнѣйшая сторона творческаго характера Гоголя: — здѣсь лежитъ причина того, что именно Гоголемъ достигнута высшая точка этического анти-мѣщанства. Пушкинъ былъ глубоко правъ, говоря Гоголю, что «еще ни у одного писателя не было этого дара выставять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка» («Переписка»; VII, 78—92). И конечно въ этомъ, а не въ чемъ-нибудь иномъ, заключается причина того гнетущаго чувства, съ какимъ Пушкинъ слушалъ чтеніе «Мертвыхъ душъ», того тяжелого впечатлѣнія, съ которымъ не разстаешься при чтеніи лучшихъ произведеній Гоголя. Гоголь сознавалъ эту свою черту и такое дѣйствіе своихъ произведеній: «пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей, — говоритъ онъ: — испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои одинъ послѣ другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія... что

по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ» (Ibid.). Этотъ душный погребъ—мѣщанство во всѣхъ его проявленіяхъ, выставленное съ громадной силой Гоголемъ къ позорному столбу; въ этомъ яркомъ выставленіи узости, плоскости и пошлости мѣщанства—всѣ права Гоголя на званіе великаго писателя, достигнувшаго въ своихъ произведеніяхъ апогея анти-мѣщанства, умѣвшаго «крѣпкою силою неумолимаго рѣзца» выставить «выпукло и ярко» всю безконечность пошлости мѣщанства,—«всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога» (V, 132).

Вотъ онъ, тотъ «страхъ жизни», та «мгла жизни», которые, начиная съ Державина, все сильнѣе и сильнѣе звучали въ русской литературѣ и жизни, пока не достигли высшей своей точки въ безнадежномъ, но все-таки относительномъ пессимизмѣ Лермонтова, и въ бессознательной тоскѣ передъ мѣщанствомъ жизни у Гоголя! Тоска эта, при полномъ неумѣніи связать пошлость окружающей жизни съ общественной жизнью Россіи, привела Гоголя ко второму періоду его дѣятельности, къ «Перепискѣ».

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, какъ это отмѣтилъ впервые еще Чернышевскій, что въ творчествѣ и жизни Гоголя не было никакого рѣзкаго перелома; особенно ясно сказывается это при изученіи его писемъ. Пошлость Гоголь ненавидѣлъ до самаго конца своей жизни одинаковой силой ненависти; но его приводила въ отчаяніе полная невозможность успѣшной борьбы съ ней и быстрой побѣды надъ ней. Конечно, онъ прекрасно сознавалъ, что сочиненія его именно и являются рѣзкой борьбой съ пошлостью, съ мѣщанствомъ, но чѣмъ дальше шло время, тѣмъ болѣе и болѣе становился онъ недоволенъ результатами этой борьбы. Ему хотѣлось чего-то великаго, рѣшающаго борьбу однимъ ударомъ; всѣ свои лучшія сочиненія онъ сталъ считать съ этой точки зрѣнія чѣмъ-то мелкимъ, незначительнымъ; онъ сталъ стараться захватить пошлости глубже, посмотреть въ корень, поразить источники мѣщанства въ самой общественной жизни Россіи, отсѣчь однимъ ударомъ голову гидрѣ мѣщанства. Но попытки эти были выше силъ Гоголя, и онъ палъ подъ тяжестью добровольно взятаго на себя груза...

«Неумолимый рѣзецъ» Гоголя «выпукло и ярко» обрисовывалъ всю пошлость мѣщанской жизни, и это было его страшнымъ оружіемъ въ борьбѣ съ мѣщанствомъ; но самъ онъ не сознавалъ всей силы

своего оружія, этого остро отточеннаго неумолимаго рѣзца. Онъ бросилъ рѣзецъ и промѣнялъ его на перо публициста и на кисть портретиста нравственныхъ и физическихъ красавцевъ и красавицъ. Но что это было за царапающее бумагу перо, что за приторная кисть *Желая однимъ ударомъ покончить съ мѣщанствомъ, Гоголь впалъ въ жесточайшее этическое мѣщанство*—и это было началомъ его конца.

Публицистомъ онъ выступилъ въ своей знаменитой «Перепискѣ». Намъ нѣтъ надобности подробно останавливаться на всемъ мѣщанствѣ этого произведенія, долженствовавшаго, по мнѣнію Гоголя, спасти Россію. Какъ публицистъ (самъ Гоголь считалъ себя въ «Перепискѣ» не публицистомъ, а чуть ли не пророкомъ Божиимъ...) онъ совершенно не понималъ, въ чемъ коренятся тѣ общественные и государственные ростки мѣщанства, которые онъ хотѣлъ съ одного взмаха вырвать съ корнемъ. Правда, и Гоголь и его корреспонденты чувствовали, что въ самой системѣ, въ самой эпохѣ есть какое-то неуловимое зло, но имъ было неясно, въ чемъ оно состоитъ, гдѣ его причины. «Грустно и даже горестно видѣть вблизи состояніе Россіи, но, впрочемъ, не слѣдуетъ объ этомъ говорить», пишетъ Гоголю пресловутая «губернаторша», Россети-Смирнова; «всѣ падаютъ духомъ, какъ бы въ ожиданіи чего-то неизбѣжнаго,—пишетъ ему графиня Уварова:—каждый думаетъ только о спасеніи личныхъ выгодъ, о сохраненіи собственной пользы, точно какъ на полѣ сраженія послѣ потерянной битвы». Дѣйствительно, система официальнаго мѣщанства приводила ко всеобщей нравственной анархіи, и это сознавалъ даже самъ авторъ «Переписки», чувствуя что-то неладное въ государственномъ механизмѣ: «образовался другой, незаконный ходъ дѣйствій мимо законовъ государства и уже обратился почти въ законный, такъ что законы остаются только для вида»—пишетъ самъ Гоголь (VII, 114, 139, 146 и др.). Гдѣ же причины этого зла, являющагося, быть можетъ, одной изъ первопричинъ мѣщанства частной жизни? Причина—въ секретаряхъ и въ совѣтникахъ губернскаго правленія...

Этотъ невѣроятный отвѣтъ Гоголя слишкомъ общеизвѣстенъ, и можно безъ обиняковъ сказать, что едва ли Гоголь понималъ общественные вопросы лучше, чѣмъ тотъ его купецъ, который весь вылился въ классической фразѣ: «тутъ съ этимъ соединено и бюджетъ и реакция, а иначе выйдетъ павпуризмъ» (VI, 125). И дѣйствительно, что другое, какъ не эта фраза вспомнится читателю, когда онъ услышитъ отъ Гоголя, что табель о рангахъ есть мудрое изобрѣтеніе самого Господа Бога, что взяточничество чиновниковъ происходитъ отъ мотов-

ства ихъ женъ, что все зло въ государственномъ организмѣ Россіи—отъ секретарей, что вырвать все это зло съ корнемъ очень нетрудно—стоитъ только, чтобы совѣтники губернскаго правленія были честные люди (VII, 14, 63, 103, 107, 153 и др.)...

Упавъ такъ низко, Гоголь становится сознательнымъ проповѣдникомъ и апологетомъ системы официальнаго мѣщанства. Онъ изумляется премудрому внутреннему устройству Россіи, преклоняется передъ бюрократическимъ мундиромъ, видитъ въ немъ единственное спасеніе всѣхъ и cadaго: «кто даже и не въ службѣ, тотъ долженъ теперь вступить на службу и ухватиться за свою должность какъ утопающій хватается за доску, безъ чего не спастись никому» (VII, 140). Онъ пророчествуетъ далѣе, что Россія — любимое дитя Бога, что черезъ десятокъ лѣтъ Европа пріѣдетъ къ намъ не за пенькой и саломъ, а за мудростью (какъ-разъ черезъ десять лѣтъ послѣ этихъ словъ былъ Крымскій погромъ...). Онъ раздѣляетъ взятки на «стыдныя» и «нестыдныя» и обращается съ воззваніемъ къ полиціи, убѣждая прекратить взятки и поборы (см., напр., VIII, 130 — 1; VI, 95; VII, 119; VII, 99, 176; оправданія и объясненія Гоголя — см. VIII, 20 и сл.). Во всемъ этомъ, конечно, много благонамѣренной наивности, той наивности, которая убѣждена, что «стоитъ только захотѣть» (какъ впоследствии выражался Л. Толстой) и сразу перемѣнится весь строй жизни. Любезные сограждане! перестанемъ быти злыми,—взывала Екатерина II,—и наступитъ вѣкъ золотой. Далеко ли ушелъ Гоголь (а впоследствии и Л. Толстой) отъ этого призыва къ самосовершенствованію, какъ къ панацеей отъ всѣхъ золъ?

Однако наивность — наивностью, а непониманіе и невѣжество своимъ чередомъ. У Гоголя они были тѣмъ болѣе пошлыми, тѣмъ болѣе мѣщанскими, что пропитаны были духомъ пророчества, религіозною вѣрою въ свои слова. Самомнѣніе, невѣжественное и верхоглядное, и раньше проскальзывало у Гоголя: то онъ беретъ за профессуру, не имѣя и самыхъ элементарныхъ свѣдѣній по своему предмету, то собирается «хватить среднюю исторію въ восемь томовъ», то помѣчаетъ подъ заголовкомъ стрывка своей работы «Т. I, кн. I, гл. I», не имѣя даже второй главы; то онъ «медлитъ изданіемъ первыхъ томовъ», не имѣя ни строчки написанной, и т. п., и т. п. (см., напр., IX, 128, 217, 263 и др.). Въ «Перепискѣ» эти черты достигли у Гоголя болѣзненно-уродливыхъ размѣровъ, осложнившись вѣрою въ свой мессіаниззмъ. «Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего!»—на такой почвѣ самомнѣніе дало богатые плоды. Гоголь проситъ своихъ соотечественниковъ прочитать

«Переписку» нѣсколько разъ, а также купить нѣсколько экземпляровъ и раздать тѣмъ, которые купить не могутъ... Онъ ко всѣмъ и каждому обращается съ властнымъ совѣтомъ—къ генераль-губернаторамъ, къ поэтамъ, къ «занимающимъ важныя мѣста», наконецъ, даже къ ученымъ (о томъ, какъ надо «проповѣдывать науку!»). Тонъ совѣтовъ—пророческій, непогрѣшимый, тонъ мнѣнія—безапелляціонный: «очнитесь! куриная слѣпота на глазахъ вашихъ!»; «выводы твои гниль—они сдѣланы безъ Бога»; «только въ глупой свѣтской башкѣ могла образоваться такая глупая мысль»... Наряду съ этимъ—совѣты «дѣлать такъ, какъ думаю я», исполнять его волю «такимъ именно образомъ, какъ я хочу», «раскусить хорошенько» его мнѣніе (VII, 6, 31, 74, 78—92, 89, 102, 115, 118, 142 и др.). Такъ отсѣкалъ Гоголь голову гидрѣ пошлости и мѣщанства...

Насколько самъ онъ въ это время завязъ въ этическомъ мѣщанствѣ, лучше всего показываетъ изумительное письмо Гоголя: «Чѣмъ можетъ быть жена для мужа въ простомъ домашнемъ быту при нынѣшнемъ порядкѣ вещей въ Россіи». Равновѣсіе бюджета—поучаетъ Гоголь—цѣль супружеской жизни и гарантія семейнаго счастья; поэтому всѣ деньги надо раздѣлить «на семь почти равныхъ кучъ», причемъ въ первой кучѣ будутъ деньги на квартиру, во второй—деньги на столъ, въ третьей—на экипажъ и лошадей, въ четвертой—на гардеробъ, въ пятой кучѣ—карманные деньги, въ шестой—деньги на чрезвычайныя издержки («покупка новаго экипажа и даже (!) вспомошествованіе кому-нибудь изъ вашихъ родственниковъ»), наконецъ «седьмая куча—Богу», на церковь и бѣдныхъ... Недурно и это... Дальше—еще лучше... «Сдѣлайте такъ, чтобы эти семь кучъ пребывали у васъ несмѣшанными, какъ бы семь отдѣльныхъ министерствъ»—все это нужно для того, чтобы завести порядокъ въ домѣ; и въ такомъ учрежденіи бюрократическихъ порядковъ въ семьѣ Гоголь видитъ основу прочнаго счастья. Наконецъ онъ достигаетъ апогея мѣщанства, апогея филистерства и пошлости, заявляя: «даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бѣдному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится въ опредѣленной на то кучѣ. Если бы даже вы были свидѣтельницей картины несчастія, раздирающаго сердце, и видѣли бы сами, что денежная помощь можетъ помочь, не смѣйте и тогда дотрогиваться до другихъ кучъ»,—въ этомъ случаѣ Гоголь разрѣшаетъ просить о помощи знакомыхъ (VII, 134)... Можетъ ли этическое мѣщанство идти дальше этого—не знаемъ; но приведенное выше мѣсто—единственное въ своемъ родѣ во всей русской литературѣ.

Итакъ, перо публициста привело Гоголя въ трясины самаго пошлаго мѣщанства. Онъ и самъ въ концѣ концовъ принужденъ былъ признать это. «Я размахнулся въ моей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее»—пишетъ онъ Жуковскому; онъ понялъ наконецъ, что публицистика, проповѣдь—не его дѣло: «искусство и безъ того ужъ поученье. Мое дѣло говорить *живыми образами*, а не разсужденіями. Я долженъ выставить *жизнь* лицомъ, а не трактовать о жизни» (см. письма къ Жуковскому 6/III 1847 г., 29/XII—10/I 1847—8 г. и др.). Такимъ образомъ Гоголь возвращается къ творчеству, но не отказывается отъ своей идеи срубить голову гидрѣ мѣщанства орудіемъ болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ его «неумолимый рѣзецъ»; такимъ орудіемъ онъ выбираетъ дряблую кисть ультра-романтическаго *портретиста*. Появляются на свѣтъ Божій Улинька, Костанжогло, Муразовъ и прочіе эпическіе и лирическіе герои...

Еще въ первомъ томѣ «Мертвыхъ душъ» Гоголь обѣщаль вывести въ послѣдствіи на сцену героя, «одареннаго божескими доблестями», русскую дѣвушку, «какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ», и вообще обѣщаль нарисовать «несмѣтное богатство русскаго духа» (V, 224). И раньше Гоголь былъ грѣшенъ тенденціей къ ультра-романтизму: если у него попадается красавица, то ужъ вѣрно не-описуемая; таковъ нехудожественный образъ панночки въ «Тарасѣ Бульбѣ» (извиняемый впрочемъ эпическимъ трюномъ повѣствованія), таково напыщенное описаніе красавицы Аннунціаты, въ которомъ Гоголь такъ печально состязается съ Марлинскимъ (см. напр., II, 82; XI, 113; III, 131—133). Теперь, во второмъ томѣ «Мертвыхъ душъ», эти задатки развились и дали плодъ сторицею. Гоголю казалось очень простымъ нарисовать своихъ блещущихъ всѣми добродѣтелями героевъ по закону контраста съ типами мѣщанъ перваго тома «Мертвыхъ душъ»; на дѣлѣ это оказалось далеко не столь простымъ и легкимъ, и кончилось тѣмъ, что Гоголь чуть-ли не впалъ въ марлиновщину, такъ какъ только у Марлинскаго можно найти подобную нехудожественность. Красота Улиньки—несравненна, такого очертанія лица «нельзя было отыскать нигдѣ»; помѣщикъ Платоновъ изумляетъ необыкновенной красотой, это «Ахиллесъ и Парисъ вмѣстѣ»; добродѣтельный кулакъ Костанжогло, придя въ торжественное состояніе духа, сіяетъ какъ царь: «какъ бы лучи исходили изъ его лица»; всѣ дѣти въ школѣ любятъ своего учителя, Александра Петровича, гораздо сильнѣе, чѣмъ своихъ родителей: «нѣтъ, никогда не бываетъ такой привязанности у дѣтей къ своимъ родителямъ. Нѣтъ, ни даже въ

безумные годы безумныхъ увлеченій не бываетъ такъ сильна неугасимая страсть, какъ сильна была любовь къ нему»... (VI, 37, 66, 77, 99; XII, 79, 104 и др.). Не говоримъ уже о лирическихъ изліяніяхъ Гоголя, нехудожественность которыхъ превышаетъ всякую мѣру. Лиризмъ былъ впрочемъ всегда слабой стороною дарованія Гоголя, хотя самъ онъ (такъ же какъ и Бѣлинскій) полагалъ, что лирическая сила имѣется у него въ изобиліи (VIII, 28). Тамъ, гдѣ Гоголь, особенно въ первыхъ своихъ разказахъ, просто и безхитростно описываетъ природу, у него иногда и прорывается лирическое чувство (напр., описаніе украинской ночи, отчасти описаніе степи въ «Тарасъ Бульбѣ» и т. п., см. I, 111, 149; II, 45—47). Уже описаніе сада Плюшкина нѣсколько искусственно (V, 111—2), все же остальное—холодная и напыщенная реторика, шумиха фразъ, примѣромъ которой можетъ служить пресловутое описаніе Днѣпра, построенное по всѣмъ правиламъ теоріи словесности («Чудень Днѣпръ»..., I, 219). Неудачныя лирическія изліянія въ «Мертвыхъ душахъ» общеизвѣстны; лучшую же характеристику понятія Гоголя о лиризмѣ можетъ дать его восхищеніе одами, ибо для него «ода есть высочайшее, величественнѣйшее, полнѣйшее и стройнѣйшее изъ всѣхъ поэтическихъ созданій» (XII, 10). Это говорилось въ 1846 г.! Величайшій изъ русскихъ реалистовъ отдавалъ такимъ образомъ дань литературному мѣщанству ультра-романтизма и псевдо-классицизма.

Въ разсудочномъ, холодномъ творествѣ Гоголя лиризма не было и быть не могло. «Поэзія, прости Господи, должна быть глуповата», говорилъ Пушкинъ (см. его письма, VII, п. 170), и этимъ парадоксомъ вѣрно отмѣтилъ черту собственнаго творчества: онъ писалъ не умомъ, а чувствомъ, творилъ воображеніемъ, а не соображеніемъ. Гоголь—наоборотъ. «Я никогда не писалъ портрета въ смыслѣ простой копіи,—пишетъ онъ:—я создавалъ портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не воображенія» (VIII, 32; IX, 192), и въ этомъ основная черта его творчества. Вотъ почему Гоголь всегда создавалъ типы, а не характеры, суммировалъ (соображеніемъ) отличительныя и родственныя свойства цѣлой группы характеровъ. Въ этомъ лежитъ причина рѣзкой выпуклости его типовъ, позволившая одному изъ критиковъ создать теорію не-реальности, безжизненности этихъ типовъ (см. В. Розановъ, «Легенда о великомъ инквизиторѣ»); теорія эта, конечно, была бы вѣрна, если бы реализмъ былъ простымъ фотографированіемъ. Интересно замѣтить, что самъ Гоголь, въ предисловіи ко второму изданію перваго тома «Мертвыхъ душъ», извиняется передъ читателемъ, что типы его—не фотографія! Въ другомъ

мѣстѣ онъ называетъ эти типы чудовищами и карикатурами: его изумило, что «Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это карикатура и моя собственная выдумка!» (VII, 85). И Пушкинъ, конечно, былъ гораздо болѣе правъ, чѣмъ Гоголь, понимая, что не въ фотографичности жизненность и что типъ не фотографія.

Но вотъ Гоголь пожелалъ однимъ ударомъ поразить пошлость мѣщанства, нарисовать не «каррикатуры», а идеальныхъ людей... Здѣсь-то и стерегла его ненавидимая имъ пошлость, ибо дѣйствительно за всю свою жизнь не создалъ Гоголь ничего пошлѣе своихъ «одаренныхъ божескими доблестями» героевъ въ родѣ Костанжогло. Этотъ добродѣтельный кулакъ ненавидитъ мѣщанство, раздражается филиппикой противъ растлѣвающего вліянія городовъ, произноситъ панегирикъ деревнѣ, гдѣ «человѣкъ идетъ рядомъ съ природой», точно идти рядомъ съ природой значитъ заниматься въ деревнѣ кулачествомъ! И не видитъ Гоголь того, что, заставляя Костанжогло бесѣдовать съ такимъ неподдѣльнымъ удовольствіемъ съ выжигой и мѣщаниномъ Чичиковымъ, онъ тѣмъ самымъ и на своего картоннаго героя налагаетъ печать мѣщанства. Устами Чичикова Гоголь выражаетъ и свое мнѣніе, что Костанжогло умнѣйшій въ Россіи человѣкъ. Но есть еще нѣкій добродѣтельный откупщикъ Муразовъ, который ровно въ десять разъ умнѣе Костанжогло, ибо капиталъ его равенъ сорока милліонамъ, въ то время какъ у Костанжогло только милліона четыре (VI, 101; XII, 105)...

Пасторальная кисть привела такимъ образомъ къ тѣмъ же результатамъ, какъ и публицистическое перо: оба они завлекли Гоголя въ болото безпросвѣтнаго мѣщанства; и безсильный сломить пошлость однимъ ударомъ, самъ сломавшій свой «неумолимый рѣзецъ», Гоголь остался безоружнымъ передъ грозной гидрой мѣщанства. Онъ пытался бороться, онъ искалъ спасенія въ индивидуализмѣ, въ религіи,—но и тамъ стерегла его та же пошлость, то же мѣщанство, одѣтое въ поповскую рясу и задрапированное въ тогу индивидуализма.

Ультра-индивидуалистическая теорія самосовершенствованія и аскетизмъ на религіозной почвѣ не спасли Гоголя отъ болота мѣщанства. «Позаботься прежде о себѣ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ почище душою, а потомъ уже старайся, чтобы другіе были чище» (VII, 75, ср. 140—1),—такова теорія самосовершенствованія у Гоголя, именно *теорія*, положенная во главу угла міровоззрѣнія, а не только этической принципъ. О теоріи этой мы будемъ подробно говорить въ главѣ, посвященной «эпохѣ общественнаго мѣщанства»,

восьмидесятымъ годамъ XIX-го вѣка; но уже и на примѣрѣ Гоголя можно видѣть, что ультра-индивидуализмъ этой теоріи переходитъ въ анти-индивидуализмъ и въ этическое мѣщанство, что здѣсь, какъ и повсюду, крайности сходятся. Отъ этической нормы «человѣкъ—цѣль» теорія самосовершенствованія незамѣтно переходитъ къ принципу «я—цѣль»; изъ чисто этического принципа теорія самосовершенствованія дѣлаетъ общественную программу, и вотъ отчего теорія эта почти неизбежно сопровождается теоріей постепенности и малыхъ дѣлъ (см. у Гоголя VII, 92—94; VIII, 47), а также и этико-соціологическимъ номинализмомъ. Все жалкое мѣщанство этой теоріи у Гоголя вскрывается ярче всего въ непосланномъ письмѣ Гоголя къ Бѣлинскому, въ блѣдной попыткѣ отвѣта на дышащее жизнью, страстью и негодованіемъ письмо великаго критика земли русской.

Теорію самосовершенствованія Гоголь базировалъ на религиозной почвѣ, на почвѣ историческаго христіанства. Здѣсь надо прежде всего подчеркнуть, что «черствый» и разсудочный Гоголь *никогда не былъ мистикомъ*, никогда не стремился и не проникалъ онъ «за предѣлы предѣльнаго»; недаромъ Гоголь на религиозной почвѣ такъ сошелся съ Жуковскимъ, пѣтизмъ котораго носилъ такой рационалистическій характеръ. Разница въ томъ, что пѣтизмъ Жуковскаго былъ меланхоличенъ, мягокъ, окрашенъ въ полу-свѣтлые, сѣроватые тона, а аскетизмъ Гоголя былъ тяжелымъ, мрачнымъ настроеніемъ, не дававшимъ надежды на просвѣтъ. Для Жуковскаго смерть есть радостное возвращеніе погибшаго «гдѣ-то, въ знакомой, но тайной странѣ», для Гоголя смерть есть Страшный Судъ и геенна огненная, уготованная діаволу и аггеламъ его... И въ этомъ темномъ страхѣ смерти передъ «загробнымъ величіемъ», быть можетъ, и проскальзываетъ нотка мистицизма; быть можетъ, зерно мистицизма оплодотворилось бы въ Гоголѣ и дало плодъ, если бы не его грубое, упрощенное пониманіе «загробнаго величія», таинства жизни и смерти, вообще всего христіанства. Невѣжественный деревенскій попъ, догматикъ и рационалистъ о. Матвѣй, такъ губительно вліявшій на Гоголя, только безпощадно заглушилъ въ душѣ его тотъ ростокъ мистицизма, который при иныхъ условіяхъ могъ сдѣлать изъ Гоголя глубокаго мистика, а не того изувѣра и мрачнаго пѣтиста-ханжу, какимъ онъ оказался въ дѣйствительности. И тутъ мѣщанство было удѣломъ Гоголя...

Такъ трагически погибъ въ борьбѣ съ мѣщанствомъ его величайшій сатирикъ. «Неумолимымъ рѣзцомъ» онъ безпощадно поражалъ пошлость мѣщанства во всю первую половину своей дѣятель-

ности, но эти громадные побѣды надъ мѣщанствомъ самому ему казались слишкомъ мелочными, ему хотѣлось покончить борьбу однимъ ударомъ. Это привело прежде всего къ жалкому этическому и литературному мѣщанству второго тома «Мертвыхъ душъ», а затѣмъ къ беспросвѣтному мѣщанству «Переписки», гдѣ Гоголь думалъ поразить наголову это же самое мѣщанство перомъ публициста или, какъ онъ самъ себя называетъ, вселенскаго учителя. Вмѣстѣ съ этимъ мѣщанство въ индивидуализмѣ, мѣщанство въ религіи—повсюду, къ чему только ни прикоснется Гоголь. Изъ безсознательнаго сатирика эпохи официальнаго мѣщанства онъ сталъ сознательнымъ апологетомъ ея, и трагедія Гоголя въ томъ, что, погибая въ сѣтяхъ мѣщанства, онъ до конца жизни ненавидѣлъ его, углублялъ свою ненависть: быть можетъ, и религіозный переломъ Гоголя, его quasi-мистицизмъ былъ только слѣдствіемъ признанія нуменальнаго значенія за мѣщанствомъ жизни, этическимъ мѣщанствомъ...

Какъ бы то ни было, но, сломавъ свой «неумолимый рѣзецъ», оставшись безоружнымъ передъ мѣщанствомъ, Гоголь погибъ. Мѣщанство одержало новую и наиболѣе блестящую побѣду. Мы видѣли, что литературное мѣщанство было побѣждено безъ особаго труда: Карамзинъ, Жуковскій и Пушкинъ нанесли ему рядъ ошеломляющихъ ударовъ, отъ которыхъ оно не воскресло. Пришелъ реализмъ. Но вмѣстѣ съ нимъ и

Adventavit asinus
Pulcher et fortissimus,—

пришло въ русскую литературу и въ русскую жизнь могучее и сильное мѣщанство этическое. Въ борьбѣ съ этимъ мѣщанствомъ жизни погибли одинъ за другимъ Пушкинъ и Лермонтовъ, погибли, но не были побѣждены, погибли побѣдителями. Судьба Гоголя была неизмѣримо трагичнѣе: онъ погибъ побѣжденный, взятый въ плѣнъ этимъ этическимъ мѣщанствомъ, мѣщанствомъ жизни, съ которымъ онъ рѣзче всѣхъ боролся и въ жизни и въ литературѣ. Въ первой отчаянной схваткѣ мѣщанство побѣдило, и написанныя въ эпоху гибели Гоголя произведенія Гончарова были ликующей пѣснью торжествующаго мѣщанства...

Гончаровъ—самое яркое воплощеніе этическаго мѣщанства въ русской литературѣ. Безсознательный апологетъ эпохи официальнаго мѣщанства, сознательный проповѣдникъ мѣщанскихъ идеаловъ, онъ въ трехъ своихъ романахъ далъ евангеліе этическаго мѣщанства, онъ закрѣпилъ и утвердилъ то, что Гоголь стремился разрушить. Онъ соединилъ въ себѣ острое оружіе отточеннаго реализма съ апологіей

тупого мѣщанства, онъ изъ картоннаго гоголевскаго Костанжогло попробоваль сдѣлать идеальнаго живого мѣщанина Штольца; и если онъ въ этомъ потерпѣль фіаско, то лишь потому, что пѣснь торжествующаго мѣщанства была въ то же время лебединой его пѣснью: пока Гоголь погибаль, безоружный, въ неравной борьбѣ, русская интеллигенція 30-хъ и 40-хъ годовъ приступомъ взяла цитадель мѣщанства, подвела подкопъ подъ систему официальнаго мѣщанства и громовой взрывъ шестидесятихъ годовъ раздался какъ-разъ въ то время, когда Гончаровъ представилъ русскому обществу своего Штольца въ видѣ идеала человѣка и мѣщанина...

Гончаровъ смѣло можетъ быть названъ проповѣдникомъ мѣщанскихъ идеаловъ, глашатаемъ мѣщанской морали, идеологомъ этического мѣщанства, несмотря на всю свою пресловутую «объективность», а отчасти и благодаря ей. Дѣйствительно, онъ относится ко всѣмъ своимъ героямъ «объективно», т.-е., по его же собственному толкованію, безпристрастно и безстрастно, *sine ira* [1, 66 ¹⁾], но это, какъ увидимъ ниже, отнюдь не исключаетъ его ярко выраженной симпатіи ко всему мѣщанскому и не мѣшаетъ даже проводить свои чисто субъективные взгляды. Всѣ его излюбленные герои—Адуевъ, Штолецъ, Тушинъ—сугубые мѣщане; духомъ торжествующаго мѣщанства проникнуты насквозь всѣ произведенія Гончарова...

«Обыкновенная исторія»—первый романъ Гончарова—появилась на самомъ рубежѣ тяжелаго семилѣтья, въ началѣ террора системы официальнаго мѣщанства, въ 1847 году. Гончарову было тогда уже подъ сорокъ лѣтъ; лучшіе годы своей жизни онъ прожилъ подъ ферулою убивающей личности системы, и, самъ того не сознавая, вполне усвоилъ принципы и идеалы официальнаго мѣщанства. Какъ писатель, онъ въ совершенствѣ овладѣль острымъ оружіемъ реализма, онъ понималъ, что только владѣя этимъ оружіемъ, мѣщанство можетъ стать опаснымъ; болѣе того, въ своемъ романѣ онъ задался цѣлью осмѣять умирающій ультра-романтизмъ, а свои мѣщанскіе идеалы выставить съ оружіемъ реализма въ рукахъ противъ осмѣянныхъ романтическихъ идеаловъ. Насколько ловко задуманнымъ и безупречно выполненнымъ оказался этотъ планъ, видно изъ того, что на удочку Гончарова попался даже Бѣлинскій. Въ ненависти противъ отмирающаго романтизма Бѣлинскій шелъ еще дальше Гончарова; но Бѣлинскій ненавидѣль въ псевдо-романтизмѣ его мѣщанство, а что могъ ненавидѣть въ немъ Гончаровъ? Онъ обратилъ вниманіе на тѣ черты племянника-Адуева,

¹⁾ Цитаты и ссылки по изданію 1899 г. (Маркса).

которыя вовсе не были характерны для романтика вообще—во всякомъ случаѣ для романтика 40-хъ годовъ; онъ забылъ, что со времени трагической кончины Владимира Ленскаго уже не мало воды утекло, и нарисовалъ фигуру сентиментальнаго романтика. Передъ нами сентиментальный романтикъ, наивный, чуть глуповатый и не вылощенный: вѣдь онъ вскормленъ и воспитанъ глухой деревней, а не monsieur Abbé; въ первый періодъ своей жизни, до знакомства съ «безпощаднымъ анализомъ» дядюшки Адуева, онъ совершенно родствененъ Владимиру Ленскому (ср. «Обыкн. Ист.»; гл. I, гл. II и «Евг. Он.»; гл. II, стр. VIII и сл.). Позднѣе онъ приближается къ Онѣгину и Печорину: послѣ исторіи съ Наденькой онъ начинаетъ «байронствовать», по выраженію его дяди; онъ разочарованъ, онъ презираетъ женщинъ, онъ не вѣритъ въ любовь и пр., и пр. Но этотъ «демонизмъ» въ немъ чисто внѣшній, для натуры Адуева-Ленскаго совершенно безпочвенный. Адуевъ перенимаетъ только внѣшніе приемы (исторія съ Лизой): принимаетъ живописныя позы, устремляетъ въ даль грустно задумчивый взоръ, говоритъ, что время любви для него миновало... Кажется, еще двѣ-три черты и ему совершенно удастся закутаться въ тогу демонизма—но нѣтъ; время печоринства миновало безвозвратно, и въ этомъ случаѣ обмѣщавшійся Мефистофель дѣйствительно выглядываетъ изъ-за «безпощаднаго анализа» дяди Адуева: онъ совершенно вѣрно высмѣиваетъ въ племянникѣ обычную черту печоринства—ставить себя выше толпы, на что Адуевъ-Ленскій не имѣетъ ни права, ни основанія. Впрочемъ, это онъ и самъ сознаетъ, почему начинаетъ ненавидѣть не только людей, но и себя (II, 146), а это уже шагъ впередъ; еще одинъ шагъ—и изъ Адуева-младшаго, послѣ этого кризиса, могъ выработаться типичный человекъ 40-хъ годовъ,—но на это у Гончарова не хватило связи съ общей жизнью историческаго момента, и онъ сдѣлалъ изъ племянника экземпляръ № 2 дяди Адуева. На придуманность такого окончанія указалъ еще Бѣлинскій, называя эпилогъ романа «неудачнымъ и испорченнымъ»; въ этомъ сказалось характерное для Гончарова непониманіе эпохи, неумѣніе вникнуть въ общественныя теченія и настроенія.

Но не въ племянникѣ-Адуевѣ главное дѣло; хотя онъ и занимаетъ первый планъ, но совершенно подавляется стоящей на второмъ планѣ фигурой дяди—положительнымъ типомъ романа. Племянникъ-Адуевъ съ первой же встрѣчи съ дядей выставленъ съ такой нелѣпой стороны, что, пожалуй, не трудно почувствовать симпатіи къ умному и «дѣловому» дядѣ. На эту удочку попался Бѣлинскій, въ своемъ негодованіи противъ романтизма не замѣтившій отталкивающаго мѣ-

шанства всей фигуры Адуева-старшего, котораго онъ находитъ «исполненнымъ ума и здраваго смысла».

Дядя-Адуевъ дѣйствительно человѣкъ дѣловой: «надо дѣло дѣлать» — любимая его фраза (II, 8). Теперь эта фраза вызываетъ въ насъ улыбку, такъ какъ сейчасъ же приводитъ на память профессора изъ «Дяди Вани» Чехова,—эту «сухую воблу» и мѣщанина во профессорствѣ, съ той же фразой на устахъ. Конечно, быть можетъ, что смѣшное теперь было вполне серьезнымъ болѣе полувѣка назадъ; по крайней мѣрѣ самъ Гончаровъ относится къ Адуеву-старшему весьма почтительно, его мѣщанскую банальщину онъ склоненъ считать «безпощаднымъ анализомъ» (I, 166), въ то время какъ дядюшка сплошь да рядомъ изрекаетъ то трюизмы, то мѣщанскую мораль. Съ точки зрѣнія Гончарова дядя Адуевъ является представителемъ труда и «живого дѣла въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоємъ» (это живое дѣло заключается въ фабрикѣ дяди-Адуева); въ немъ мы якобы имѣемъ «твердое сознание необходимости дѣла, труда, знанія» (I, 40—41). Весьма почтенное сознание; но что мы видимъ на дѣлѣ? Передъ нами ясно и рельефно—какъ и всегда у Гончарова—вырисовывается чиновникъ, кулакъ и мѣщанинъ, считающій свой департаментъ и бумаги—истиннымъ дѣломъ, сѣкущей своихъ фабричныхъ и проповѣдующій плоскую мѣщанскую мораль. Это яркій представитель официального мѣщанства въ частной, домашней жизни. Основное его качество—безстрастіе, почти неизбѣжное слѣдствіе мѣщанской плоскости чувства; въ лицѣ его замѣчалась «сдержанность, т.-е. умѣнье владѣть собою» (I, 120), и самъ онъ разсуждаетъ объ этомъ своемъ качествѣ съ настоящимъ самодовольствомъ мѣщанина: «велика фигура—человѣкъ съ сильными чувствами, съ огромными страстями!—изрекаетъ онъ:—мало ли какіе есть темпераменты? Восторги, экзальтація: тутъ человѣкъ всего менѣе похожъ на человѣка и хвастаться нечѣмъ. Надо спросить, умѣетъ ли онъ управлять чувствами; если умѣетъ, то и человѣкъ»... (I, 169). Таковъ первый членъ его мѣщанскаго символа вѣры, который онъ излагаетъ, чтобы облить холодной водой «глупую восторженность» племянника. Второй членъ этого символа вѣры—узкій и холодный мѣщанскій эгоизмъ; общеніе съ людьми онъ понимаетъ только какъ дѣловыя отношенія по службѣ; по вечерамъ—карты въ обществѣ солидныхъ людей, изрѣдка—дѣловой обѣдъ въ обществѣ непременно почему-либо нужномъ: «что же даромъ-то кормить?» (I, 190). Понятно, что при такихъ воззрѣніяхъ на жизнь и людей дядя-Адуевъ одинокъ въ жизни: одиночество—частый спутникъ мѣщанскаго эгоизма. У Адуева-старшаго нѣтъ друзей, нѣтъ близкаго человѣка, онъ «никогда не прибли-

жался ни съ кѣмъ до такой степени, чтобы жалѣть» (I, 191); по его мнѣнію, «надо воздерживать себя, не навязывать никому своихъ впечатлѣній, потому что до нихъ никому нѣтъ надобности» (I, 151). Сухой и черствый, дядя-Адуевъ представляетъ изъ себя лучшей экземпляръ разновидности эгоиста-мѣщанина.

Взгляды этого мѣщанина на жизнь — самые чиновничьи, самые мѣщанскіе. Выше всего въ жизни онъ ставитъ, разумѣется, комфортъ (I, 150); жизнь для него — это деньги и служебное положеніе, «карьера и фортуна» (I, 138), а кромѣ этого все остальное ничто — недаромъ съ его точки зрѣнія жизнь есть озеро, полное грязи и тины (I, 152). И рѣшительно на все такой же мѣщанскій взглядъ; талантъ для него есть капиталъ, приносящій проценты; чѣмъ больше проценты, тѣмъ талантливѣе человѣкъ (I, 156); бѣдность — порокъ, вызывающій омерзѣніе: «ѣсть, говорить, нечего, — передразниваетъ онъ воображаемаго бѣдняка: — я, говоритъ, женатъ, у меня, говоритъ, ужъ трое дѣтей, помогите, не могу прокормиться, я бѣденъ», — и кладетъ свою резолюцію: «бѣденъ! какая мерзость!» (I, 185). Въ случаѣ надобности дядюшка-Адуевъ готовъ пустить въ ходъ благородную мораль: «жениться по разсчету — это низко», — но не преминетъ сейчасъ же добавить мораль мѣщанскую: «но жениться безъ разсчета — это глупо» (I, 183). Такъ онъ и женится не по разсчету, но и не безъ разсчета; любовь для него — миѳъ, и недаромъ племянникъ говоритъ, что въ жилахъ дядюшки «течетъ молоко, а не кровь» (I, 253). Жизнь для него ясна, размѣренна и опредѣленна; въ ней нѣтъ ни счастья, ни борьбы, ни волненій, а есть «просто жизнь, раздѣляющаяся поровну (замѣтьте себѣ, непременно *поровну!* — тоже характерный признакъ для размѣренного мѣщанина (на добро и зло, на удовольствіе, удачу, здоровье, покой, потомъ — на неудовольствіе, неудачу, безпокойство, болѣзни и проч... на все это надо смотрѣть просто» (I, 143).

Довольно всего этого, чтобы составить себѣ полное понятіе объ Адуевѣ-старшемъ; пропустимъ даже то, что онъ своимъ мѣщанствомъ загубилъ свою жену: и безъ этого добавочнаго штриха передъ нами стоитъ во всей своей красѣ типичная фигура мѣщанина, мѣщанина съ головы до пятъ, мѣщанина до малѣйшихъ деталей внѣшней и внутренней жизни. «Это какая-то деревянная жизнь, — скажемъ мы вмѣстѣ съ романтикомъ Адуевымъ-младшимъ: — прозябаніе, а не жизнь! прозябать безъ вдохновенья, безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви!» (I, 145).

Интересно отмѣтить, что въ эпилогѣ Гончаровъ также испортилъ фигуру дяди, какъ и племянника: изъ послѣдняго онъ не сдумѣлъ, вслѣдствіе полного отсутствія связи съ общей жизнью историческаго

момента, сдѣлать типичнаго человѣка 40-хъ годовъ; перваго же онъ зачѣмъ-то счелъ нужнымъ въ концѣ романа смягчить, заставить хоть отчасти принести повинную въ своемъ мѣщанствѣ, въ своей деревянности. Дядя-Адуевъ на порогѣ получения чина тайнаго совѣтника выходитъ въ отставку, собирается ѣхать въ Италію, и даже восклицаетъ: «полно жить этой деревянной жизнью!» (II, 202). Наконецъ-то сознался! Все это весьма утѣшительно и похвально, но, къ сожалѣнію, нѣсколько поздно; уже поздно изъявлять желаніе «жить не одной головой» (II, 202); поздно считать себя способнымъ къ жертвѣ (II, 201)—слишкомъ поздно. и хотя весьма добродѣтельно, но настолько же и мало-вѣроятно. Самый типъ теряетъ отъ этого въ выдержанности, такъ какъ въ читателѣ успѣваетъ уже слишкомъ прочно вкорениться впечатлѣніе безпросвѣтнаго мѣщанства Петра Ивановича Адуева, перваго положительнаго типа Гончарова.

Познакомившись съ дядей-Адуевымъ, вы невольно вспоминаете, что когда-то встрѣчались съ нимъ уже и раньше, и не только съ однимъ Адуевымъ-старшимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и съ его племянникомъ. Дѣйствительно, они существовали еще за пятьдесятъ лѣтъ до появленія «Обыкновенной Исторіи», и являлись тогда подъ именами Леонида и Эраста, «чувствительнаго и холоднаго»—изъ разсказа такого названія Карамзина (см. гл. II). Вспомните этотъ разсказъ и мѣщанскую философію Леонида, который «стоялъ на томъ, что благоразумному человѣку надобно въ жизни заниматься дѣломъ» («надо дѣло дѣлать», слышали мы отъ Адуева), который сыпалъ сентенціями совершенно во вкусъ дяди-Адуева, въ родѣ «служба есть у насъ вѣрнѣйшій путь къ уваженію, а чины ходячая монета», и т. п., который, наконецъ, женился совершенно какъ дядя-Адуевъ, «чтобы избавить себя отъ хозяйственныхъ хлопотъ: женщина нужна для порядка въ домѣ»,—вспомните все это, и вы убѣдитесь, что еще сто лѣтъ тому назадъ (разсказъ Карамзина написанъ въ 1803 г.) и почти за полъ-вѣка до «Обыкновенной Исторіи» существовалъ точный прототипъ Петра Ивановича Адуева. Отсюда слѣдуетъ, что Адуевъ-старшій не есть всецѣло результатъ эпохи оффиціального мѣщанства; такіе типы существовали и раньше, хотя, конечно, эпоха оффиціального мѣщанства создала удобную почву для пышнаго расцвѣта сотенъ и тысячъ такихъ Адуевыхъ. Но вотъ что создала эпоха оффиціального мѣщанства: она создала возможность считать такого Адуева положительнымъ типомъ, въ чемъ былъ твердо убѣжденъ Гончаровъ, въ чемъ повиненъ даже Бѣлинскій. (впрочемъ только по ошибкѣ).

При всей пошлости и плоскости Адуева-старшаго типъ этотъ

однако весьма широко захваченъ; если его имя не сдѣлалось такимъ же нарицательнымъ, какъ имя Обломова, то только потому, что на свою лѣнь и бездѣятельность мы уже давно обратили вниманіе, а на свое мѣщанство—весьма и весьма недавно. А между тѣмъ, какъ типъ, Адуевъ-старшій нисколько не уступаетъ въ общности Обломову, и вполне заслуживалъ бы новаго словообразованія «*адувщина*», какъ символа сухого и плоскаго мѣщанства эпохи величія бюрократіи и мундира, подобно тому какъ «*обломовщина*» является синонимомъ апатіи, бездѣятельности и вообще растительной жизни. Эта апатія, эта пассивность и растительная жизнь—тоже особая разновидность мѣщанства; Гончаровъ коснулся ихъ въ своемъ второмъ романѣ. «Обломовъ» появился въ 1858 г., но время его написанія—именно эпоха 1848—1855 гг.; въ этомъ романѣ для насъ интересны два типа, изъ которыхъ опять одинъ якобы отрицательный, другой положительный; мы поговоримъ о нихъ ниже, а пока укажемъ на сильное, если не потрясающее, впечатлѣніе, произведенное этимъ романомъ. Русское общество только-что начинало пробуждаться отъ тяжелаго кошмара эпохи официальнаго мѣщанства, когда предъ нимъ нарисовали ярко и рельефно фигуру Обломова, находящагося въ хронической спячкѣ. Широта захвата и общность типа была такъ велика, что каждый російскій гражданинъ, особенно умѣренно-либеральнаго оттѣнка на дѣлѣ, хотя и беспощадный радикаль на словахъ, могъ признать свои основныя черты въ этомъ типѣ; почти все русское «культурное» общество, за очень немногими исключеніями, сознало свое родство съ Обломовымъ; типъ этотъ сталъ символическимъ, Обломовка превратилась въ Россію. Все это сейчасъ же отмѣтилъ Добролюбовъ въ своей знаменитой статьѣ «Что такое обломовщина?» (1859 г.).

Съ того времени прошло почти полъ-вѣка и мы теперь въ состояніи отнестись менѣе экспансивно и болѣе безпристрастно къ Обломову и обломовщинѣ—издали виднѣе. И прежде всего надо спросить себя: законно ли расширение границъ Обломовки до предѣловъ Россіи? Дѣйствительно, аналогія очень соблазнительная! Представьте себѣ страну, въ которой «правильно и невозмутимо совершается годовой кругъ» (III, 126), въ которой «все тихо, все сонно» (III, 129), «ни страшныхъ бурь, ни разрушеній не слышать въ томъ краю», и даже грозы бываютъ точно по календарю: «и число, и сила ударовъ, кажется, всякій годъ одни и тѣ же, точно какъ будто изъ казны отпускалась на годъ на весь край извѣстная мѣра электричества»... (III, 127). Все это очень похоже на Россію, мирно прозябающую въ до-севастопольскомъ снѣ, видимо благоденствующую, но раздѣдаемую скрытымъ недугомъ си-

стемы официальнаго мѣщанства. Но все-таки Обломовка—не вся Россія; слишкомъ узкими штрихами обрисована Обломовка, только на одну сторону вопроса обратилъ вниманіе Гончаровъ.

То же самое можно сказать и про Обломова, которому Добролюбовъ придалъ слишкомъ широкое значеніе. Дѣйствительно, что такое Обломовъ? Его можно охарактеризовать двумя словами: растительная жизнь. Это первый этапъ на пути мѣщанства, хотя еще не все мѣщанство въ своей полнотѣ. Въ немъ соединено много мѣщанскихъ чертъ съ чертами мало свойственными мѣщанству. Основная мѣщанская черта растительной жизни Обломова—пассивность, переходящая въ апатію: трудно и скучно даже двигаться, ходить; естественное, нормальное состояніе Обломова—лежанье (III, 7). Эта же пассивность переходитъ и въ безстрастіе Обломова, не чиновничье безстрастіе Адуева-старшаго, но безстрастіе растительной жизни: никакихъ страстей, никакихъ волненій; когда любовь нарушаетъ такой мирный образъ жизни, то Обломовъ можетъ только воскликнуть: «Господи! Зачѣмъ она любить меня? Зачѣмъ я люблю ее? Зачѣмъ мы встрѣтились?.. И что это за жизнь, все волненія да тревоги!» (IV, 69). Идеаль этой растительной жизни—мирное житіе, сытость и бездѣлье: «жилъ бы безъ горя, безъ заботъ, и прожилъ бы вѣкъ свой мирно, тихо, никому бы не прозавидоваль» («Обыкн. Ист.»; I, 100); прожить по этой трафареткѣ—значитъ исполнить свое назначеніе. Эта трафаретность, эта инертность и пассивность характеризуютъ полную безличность растительной жизни, какъ перваго этапа мѣщанства; слабѣе выражены (однако выражены) плоскость чувства и узость ума. Кромѣ того въ Обломовѣ иногда прощупывается сознаніе, что уже совершенно недоступно чиновнику Адуеву; но какъ-разъ въ этомъ и все горе Обломова. Горе это онъ заглушаетъ «жалкими словами», которыя онъ такой мастеръ говорить, но это ему не всегда удается: въ немъ тщетно что-то пробивается изъ-подъ коры растительной жизни, и если горе его не отъ ума, то оно, конечно, отъ сознанія. Отъ мѣщанства Обломова отдѣляетъ кромѣ того широта размаха общественной жизни. «Помѣщицья распушенность, признаться сказать, намъ по душѣ,—отмѣчаетъ обще-русскую черту Герценъ:—въ ней есть своя ширь, которую мы не находимъ въ мѣщанской жизни Запада» («Былое и думы»; II, 322). «Нашей душѣ несвойственна эта среда,—еще ранѣе говорилъ Герценъ въ своемъ романѣ «Кто виноватъ» о той же мѣщанской средѣ Запада:—она не можетъ утолять жажды такимъ жиденькимъ винцомъ: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже—но въ обоихъ случаяхъ шире». Все это отъ слова и до слова примѣнимо къ Обломову.

Итакъ, Обломовъ стоитъ на рубежѣ между растительностью и мѣщанствомъ; за это и казнить его умѣренный и аккуратный авторъ, постоянно допекая его своимъ Штольцемъ, какъ лучшимъ образцомъ добродѣтельнаго мѣщанства. Чтобы окончить съ Обломовымъ, отмѣтимъ еще, что Добролюбовъ захотѣлъ увидѣть въ немъ типичнаго представителя лишнихъ людей, находя въ немъ печоринскій и рудинскій элементы и бесплодное стремленіе къ дѣятельности. Добролюбовъ правъ только отчасти, и совершенно неправъ въ своемъ смѣшеніи мѣщанъ и лишнихъ людей. Дѣйствительно, и лишніе люди и мѣщане имѣютъ много общихъ чертъ, но мы увидимъ также, что они имѣютъ не менѣ ясныя раздѣлительныя черты. Обломову до лишнихъ людей какъ до звѣзды небесной далеко. Онъ стоитъ на рубежѣ растительной жизни и мѣщанства; если бы ему удалось благополучно перейти этотъ первый этапъ, то всѣ его шансы къ тому, чтобы стать полнымъ и образцовымъ мѣщаниномъ, положительнымъ типомъ Гончарова, уменьшенной копіей добродѣтельнаго героя Штольца. Интересно, что Гончаровъ относится къ Обломову двойственно: насколько Обломовъ еще не успѣлъ сдѣлаться мѣщаниномъ, настолько авторъ относится къ нему отрицательно, вполне презирая его растительную жизнь; насколько Обломовъ мѣщанинъ, настолько симпатизируетъ ему Гончаровъ, въ которомъ многіе и самъ онъ не безъ основанія отмѣчали обломовскія черты (см. IV, 262 и сл.; V, 65 и 81 и т. п.). Къ Штольцу же Гончаровъ относится съ совершеннымъ почтеніемъ; въ этомъ лицѣ онъ полнѣе всего выразилъ свои симпатіи и идеалы.

Штольць — отчасти продолженіе, отчасти переработка и дополненіе нашего знакомаго — дяди-Адуева; Штольць — вѣрный и истинный сынъ эпохи официального мѣщанства; на немъ легче всего прослѣдить, какъ кроила людей по своему шаблону эта убивающая личность эпоха. Передъ нами — ни холодный, ни горячій, ровный, средній человекъ; умѣренность и аккуратность ему такъ же свойственны, какъ вывѣренному хронометру; онъ въ мѣру либераленъ, въ мѣру консервативенъ; онъ человекъ дѣловой, также какъ и его старшій родственникъ Петръ Ивановичъ Адуевъ. Впрочемъ, мы предоставимъ характеризовать Штольца самому Гончарову.

Для Гончарова Штольць — «представитель труда, знанія, энергіи — словомъ, силы» (I, 46), также какъ и Адуевъ-старшій былъ представителемъ «живого дѣла». Подобно Адуеву, Штольць сдержанъ, размѣренъ и точенъ, какъ часовой механизмъ: «движеній лишнихъ у него не было. Если онъ сидѣлъ, то сидѣлъ покойно, если же дѣйствовалъ, то употреблялъ столько мимики, сколько было нужно» (!);

внутренній его міръ построень по такому же образцу «кажется, и печалю и радостями онъ управлялъ какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ» (III, 205). Стремленіе эпохи офіціального мѣщанства обратить всѣхъ гражданъ въ механизмы достигло въ Штольцѣ самыхъ блистательныхъ результатовъ.

Мѣщанскіе идеалы Штольца недалеко ушли отъ растительныхъ идеаловъ Обломова; по мнѣнію Штольца — «нормальное назначеніе человѣка прожить четыре времени года, т.-е. четыре возраста, безъ скачковъ, и донести сосудъ жизни до послѣдняго дня, не проливъ ни одной капли напрасно... Ровное и медленное горѣніе огня лучше бурныхъ пожаровъ, какая бы поэзія ни пылала въ нихъ» (III, 208). Само собою разумѣется, что такая точка зрѣнія на жизнь не оставляетъ мѣста мучительнымъ сомнѣніямъ, болѣзненнымъ надрывамъ: все такъ ясно, понятно, потому что все такъ узко и плоско. «Не видали, чтобы онъ (Штольцъ) задумывался надъ чѣмъ-нибудь болѣзненно и мучительно» — конечно нѣтъ, такъ какъ для мѣщанина въ его аккуратно размѣренной жизненной программѣ нѣтъ мѣста для мучительныхъ запросовъ; такой мѣщанинъ — и Штольцъ первый изъ нихъ — не столько человѣкъ, сколько прихода-расходная книга; онъ и физически и нравственно живетъ по бюджету, «стараясь тратить каждый день, какъ каждый рубль, съ ежеминутнымъ, никогда не дремлющимъ контролемъ издержаннаго времени, труда, силъ души и сердца» (III, 205); это какая-то ходячая двойная бухгалтерія, подводящая балансъ и стремящаяся къ «равновѣсію практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа» (III, 205). Не удивляйтесь: у мѣщанина могутъ быть тонкія потребности духа. Послѣ хорошаго обѣда мѣщанинъ любитъ послушать хорошую музыку; иногда онъ цѣнителъ стараго фарфора, картинъ; еще чаще онъ нумизматъ — но все въ мѣру, все на своемъ мѣстѣ. Вотъ вѣдь и дядюшка Адуевъ «знаетъ наизусть не одного Пушкина... любитъ искусства, имѣетъ прекрасную коллекцію картинъ» (I, 150), что не мѣшаетъ однако ему быть мѣщаниномъ съ головы до пятъ.

До сихъ поръ мы видѣли, что Штольцъ является какъ бы вторымъ обновленнымъ, дополненнымъ и усовершенствованнымъ изданіемъ Петра Ивановича Адуева, но конечно, между ними есть и существенная разница. Вѣдь какъ-никакъ, а между ними лежитъ болѣе десятилѣтія, и мѣщанство Штольца поневолѣ приобрѣло новый болѣе современный оттѣнокъ. Прежде всего Штольцъ гораздо отполированнѣе своего собрата по мѣщанству, гораздо «благовоспитаннѣе», гораздо сдержаннѣе нѣсколько грубоватаго дядюшки; какъ онъ мѣ-

щански сдержанъ даже въ тотъ моментъ, когда всякій другой на его мѣстѣ вѣроятно хотъ нѣсколько вышелъ бы изъ нормы! Штольцъ объясняется въ любви Ольгѣ: какъ комично вмѣсто «ангелъ мой» говоритъ онъ любимой дѣвушкѣ «ангелъ—позвольте сказать—мой!» (IV, 172). Конечно, это мелочь, но какъ великолѣпно эта мелочь характеризуетъ излюбленнаго гончаровскаго героя! Даже у дядюшки Адуева мы не найдемъ такого перла умѣренности и сдержанности. Но разница между мѣщанствомъ Штольца и Адуева идетъ и дальше: Штольцъ—прогрессистъ, Штольцъ либераленъ, конечно въ мѣру; онъ уже не сѣчетъ своихъ фабричныхъ, а разсуждаетъ на ту тему, что-де для народа весьма полезна грамотность, ибо грамотный мужикъ будетъ читать о томъ, какъ пахать—конечно, помѣщику еще и выгода! (III, 212). И только? и только... Но какъ бы ни были узки воззрѣнія Штольца, онъ все-таки гораздо лучше вооруженъ, чѣмъ Адуевъ; у него взглядъ зорче, смотритъ онъ дальше. Онъ задается даже вопросомъ о цѣли своей жизни, о цѣли жизни вообще; онъ твердо знаетъ, что жить надо для самага труда, больше ни для чего. Трудъ—образъ, содержаніе, стихія и цѣль жизни» (III, 231). Трудъ какъ цѣль жизни—это, конечно, полная антитеза Обломову съ его лежачими, растительными идеалами; но какое безпросвѣтное этическое мѣщанство заключено въ идеалахъ Штольца! Впослѣдствіи и у Чехова и у Горькаго встрѣтятся эта же самая мысль («Три сестры» и «Ома Гордѣевъ»), что въ работѣ, въ трудѣ—смысль человѣческой жизни; но у Чехова его страдающіе страхомъ жизни герои хватаются за трудъ только какъ за анестезирующее средство, а у Горькаго въ концѣ концовъ рѣшительно осуждается мысль, что трудъ можетъ быть цѣлью жизни: «это невѣрно, что въ трудахъ оправданіе!» У Штольца же ни на одну секунду не является раздумья, что трудъ можетъ быть только средствомъ, что трудъ является только формой, въ которую можетъ быть втиснуто любое содержаніе.

Итакъ, отъ Адуева къ Штольцу мѣщанство подверглось эволюціи; изъ консервативно-чиновничьяго, безхитростно-эгоистичнаго, практическаго оно стало превращаться въ теоретическое умѣренно-гуманное и либеральное; въ немъ больше сознанія, оно нѣсколько шире по формамъ, сохраняя прежнее содержаніе. Точно воздушный шаръ поднялся нѣсколько выше: газъ расширился, оставаясь въ прежней массѣ, хотя и сталъ рѣже, проникаемѣе. И мѣщанство Штольца стало гораздо проникаемѣе для вѣяній времени, сравнительно, съ тупымъ, деревяннымъ мѣщанствомъ чиновника-фабриканта. Но ни проникаемость эта, ни ростъ сознанія не могли довести Штольца до тѣхъ границъ,

до тѣхъ вопросовъ, съ которыхъ начинается разложеніе этического мѣщанства. «Проклятые вопросы» отскакиваютъ отъ него, какъ горохъ отъ стѣны, а когда жизнь погружаетъ его въ нихъ съ головой, то они стекаютъ съ него, какъ съ гуся вода, и онъ выходитъ изъ нихъ попрежнему сухимъ этическимъ мѣщаниномъ.

Вотъ характерный случай. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ счастливаго прозябанія со Штольцемъ, жена его, Ольга, начинаетъ скучать: «вдругъ какъ будто найдетъ на меня что-нибудь, какая-то хандра,— жалуется она мужу:—мнѣ жизнь покажется... какъ будто не все въ ней есть». Ольга сама не понимаетъ, что это съ нею творится, а Гончаровъ, конечно, не позволяетъ ей догадаться, что хандра ея есть неизбежная реакція живого человѣка противъ мертвящей суши этического мѣщанства, что дѣйствительно (а не «какъ будто») въ ея жизни «не все есть», что она жила все время жалкой, половинной жизнью. Но теперь съ ея глазъ спадаетъ завѣса; она смотритъ на свою жизнь вспоминаетъ прошлое, заглядываетъ въ будущее—и съ ужасомъ спрашиваетъ сама себя: «что же это? ужели еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нѣтъ дороги... Ужели нѣтъ, ужели ты совершила кругъ жизни? Ужели тутъ все... все...» Ольга задыхается въ болотѣ этического мѣщанства. Неужели вся ея жизнь пройдетъ въ этой затхлой атмосферѣ умѣренности и размѣренности, какъ-разъ въ то время, когда отмираетъ система официальнаго мѣщанства, когда новая жизнь закипаетъ вокругъ? А все это пройдетъ мимо нея: добродѣтельнаго мѣщанина Штольца величайшія соціальныя движенія могутъ занимать только теоретически; онъ не прочь поговорить о нихъ въ свободную минуту, развить теорію постепенности, утѣшить Ольгу чѣмъ-нибудь въ родѣ замѣчательнаго изреченія самого Гончарова, что, молъ, «крупные и крутые повороты не могутъ совершаться какъ перемѣна платья, они совершаются постепенно»... (I, 59). Удовлетворится ли Ольга этой противрѣчащей всякой логикѣ теоріей о *постепенности крутыхъ* поворотовъ (!)? Во всякомъ случаѣ сама Ольга стоитъ еще на точкѣ поворота; она еще стыдится своихъ недоумѣній и вопросовъ: «что-жъ это... счастье... вся жизнь...—говоритъ она:—всѣ эти радости, горе... природа... все тянетъ меня куда-то еще; я дѣлаюсь ничѣмъ недвольна»...

Что же можетъ отвѣтить на все это мѣщанинъ Штолецъ? Отвѣтъ его можно предвидѣть заранѣе; это тотъ самый отвѣтъ, который мѣщанство всегда давало на всѣ «проклятые вопросы» жизни: оно зажимало уши, закрывало глаза и старалось увѣрить себя, что

лишь слѣпые, глухіе и безумные могут сомнѣваться въ томъ, что въ мѣщанской жизни все обстоит благополучно. Поэтому прежде всего Ольгѣ... надо полечиться: «кажется, надо опять купаться въ морѣ... Можетъ быть, въ тебѣ проговаривается еще нервическое разстройство: тогда докторъ, а не я, рѣшить что съ тобой»... Если же купаніе въ морѣ не разрѣшитъ «проклятыхъ вопросовъ», то единственное спасеніе сдать ихъ на капитуляцію: «мы не Титаны съ тобой,—говоритъ Штольцъ Ольгѣ,—мы не пойдемъ съ Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами, не примемъ ихъ вызова, склонимъ головы»... (IV, 220—227).

Таково специфическое мѣщанское разрѣшеніе проклятыхъ вопросовъ: и такимъ разрѣшеніемъ характеристика этического мѣщанина получаетъ послѣднюю черту, послѣдній ударъ рѣзца. Здѣсь пѣснь торжествующаго мѣщанства звучитъ fortissime, упраздняя навѣкъ всѣ запросы, лежащіе за кругозоромъ мѣщанства, фиксируя какъ необходимое всѣ мѣщанскіе идеалы, всѣ возрѣнія мѣщанства на жизнь и на человѣка. Въ типѣ Штольца Гончаровъ достигъ апогея мѣщанства и тѣмъ рельефнѣе отгѣнилъ мѣщанство своего героя, чѣмъ болѣе желалъ нарисовать въ немъ типъ положительный; это желаніе привело къ безжизненности типа, къ тому, что изъ-за него (по собственному признанію Гончарова) «слишкомъ голо выглядываетъ идея», идея превознести и препрославить этическое мѣщанство, сдѣлать его единственно возможной идеологіей достойнаго и добродѣтельнаго человѣка... Но на этомъ fortissime пѣсни торжествующаго мѣщанства голосъ Гончарова сорвался...

Надо замѣтить, что Штольцъ является однимъ изъ наименѣ антипатичныхъ героев мѣщанства,—по крайней мѣрѣ Гончаровъ сдѣлалъ все возможное для того, чтобы приукрасить своего любимца. Онъ далъ ему, или по крайней мѣрѣ пытался дать, нѣкоторыя свойства и качества несомнѣнно положительныя, напримѣръ, силу, энергію, активность,—но эти качества направлены Штольцемъ на узкую и одностороннюю цѣль: онъ можетъ учетверить свои капиталы, повысить втрое доходность имѣнія, настойчиво стремиться къ знанію — такъ какъ знаніе дастъ ему деньги и комфортъ. Всѣми этими качествами обладалъ въ еще большей степени Алексѣй Степанычъ Молчалинъ; изъ одного этого примѣра можно было бы убѣдиться, что положительныя качества, направленныя на отрицательную цѣль, приводятъ человѣка къ весьма плачевнымъ результатамъ. Мѣщанскіе идеалы Штольца заглушили собой возможные положительныя стороны его характера; внѣ своей мѣщанской цѣли Штольцъ пассивенъ и безси-

лень; это нагляднѣе всего проявилось въ эпизодѣ съ Ольгой: Штольць предлагаетъ ей смириться передъ жизнью, сознать свое безсиліе, «мы не Титаны»... Но вѣдь и не нужно быть титаномъ для борьбы съ житейской пошлостью, достаточно только не быть мѣщаниномъ. Этому не можетъ понять alter ego Гончарова, Штольць; эпоха официальнаго мѣщанства воспитала его въ своихъ узкихъ рамкахъ, и онъ теперь передъ жизнью способенъ только «не разсуждать — повиноваться». Передъ нами необходимое слѣдствіе и очевидный результатъ угнетавшей личность эпохи—второй четверти XIX вѣка.

Въ Адуевѣ и Штольцѣ ясно выразилось, какихъ размѣровъ достигло мѣщанство въ русской литературѣ послѣ эпохи 1825—1855 гг. Мы могли бы ими покончить наше знакомство съ мѣщанскими типами романовъ Гончарова, но есть еще одинъ типикъ въ послѣднемъ романѣ Гончарова, въ «Обрывѣ». Романъ этотъ появился въ 1869 г., но писался въ теченіе цѣлыхъ 20-ти лѣтъ; мы скажемъ только два слова объ общемъ фонѣ романа и о типѣ мѣщанина, нисходящаго родственника Адуевыхъ и Штольцевъ.

На общемъ фонѣ романа выдѣляются интересныя фигуры бабушки, Марѣиньки, Козлова, Крицкой; вся жизнь провинціального города служить этимъ фономъ. Здѣсь все та же растительная жизнь, что и у обломовцевъ. Бабушка также любитъ задать пиръ горой, также довольствуется «жизненной мудростью», точно купленной на вѣсъ (VIII, 276, 278); однако отъ обломовцевъ бабушка отличается своей дѣятельностью: она весь день въ работѣ; она не терпитъ «лежебокъ». Она согласна съ Адуевымъ и со Штольцемъ, что «надо дѣло дѣлать» и что «трудъ—цѣль жизни»; вѣдь она сама «вѣкъ свой дѣлала дѣло, и если не было, такъ выдумывала его» (VIII, 275). Въ лицѣ бабушки мы имѣемъ постепенный переходъ отъ растительной жизни къ мѣщанству; въ этомъ отношеніи она стоитъ между Обломовымъ и Штольцемъ, являясь какъ бы среднимъ пропорціональнымъ между ними.

Не въ бабушкѣ теперь, впрочемъ, дѣло; интереснѣе отмѣтить, какъ все, къ чему ни прикасается Гончаровъ, немедленно принимаетъ окраску самаго сугубаго мѣщанства. Такъ на примѣръ, даже изъ типа ужаснаго нигилиста Марка Волохова, долженствовавшаго по замыслу автора служить нравоучительнымъ примѣромъ, къ какимъ пагубнымъ результатамъ приводитъ протестъ противъ мѣщанства, даже изъ этого типа Гончаровъ ухитрился сдѣлать чистокровнаго мѣщанина. Нашъ умѣренный и аккуратный авторъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы нарисовать по закону контраста съ благоприличнымъ

мѣщанствомъ діаметрально противоположный типъ нигилиста; и чѣмъ невѣроятнѣе и комичнѣе вышелъ послѣдній типъ, тѣмъ яснѣе мѣщанскія потуги добродѣтельнаго автора. Онъ заставляетъ своего Волохова закуривать сигары вырваннымъ изъ книги листомъ, прыгать по принципу черезъ заборы и въ окна, когда свободенъ проходитъ въ ворота и дверь: этимъ выражается его свобода отъ «правиль» и «долга», столь любезныхъ мѣщанскому сердцу Гончарова. Онъ не сообразилъ, что его ужасный нигилистъ вышелъ такимъ же узкимъ мѣщаниномъ, какъ и самые мѣщанскіе его герои, ибо развѣ это по существу не узкая мѣщанская мораль, по которой порядочный человекъ только тотъ, кто лазитъ черезъ заборы? (VIII, 338). Перефразируя слова Герцена, можно сказать, что отрицаніе шаблона во что бы то ни стало—тоже шаблонъ своего рода. Правда, Волоховъ не до конца отрицаетъ шаблонъ, ибо какъ-разъ конецъ-то его самый шаблонный: ужасный нигилистъ вдругъ проникается раскаяніемъ и просится на Кавказъ въ юнкера! Въ этомъ неожиданномъ пассажѣ какъ солнце въ малой каплѣ водѣ отразилось все безсиліе мѣщанина-автора построить типъ не мѣщанскій: не съ того, такъ съ другого конца у него все-таки получится мѣщанинъ...

Волоховъ—бука, назначеніе котораго пугать всѣхъ добродѣтельныхъ мѣщанъ; на лбу у него роковыя слова: вотъ до чего можетъ довести отрицаніе этического мѣщанства!

Смотрите,—вотъ примѣръ для васъ:

Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами!..

Полная противоположность ему—Тушинъ, пай-дитюша, съ котораго всѣ могутъ брать примѣръ. Подобно Петру Ивановичу Адуеву и Андрею Ивановичу Штольцу (почему-то всѣ излюбленные мѣщанскіе герои Гончарова непремѣнно шаблонные «Ивановичи»), Иванъ Ивановичъ Тушинъ тоже «дѣловой человекъ», человекъ «новаго дѣла» (X, 275; I, 74—75). Въ чемъ это новое дѣло, Гончаровъ не объясняетъ, но не трудно видѣть, что это новое дѣло—очень старое дѣло, которымъ занимались и Адуевъ, и Штольцъ. «Тушинъ давно уже хозяйничаетъ у себя въ имѣніи на рациональныхъ началахъ хозяйства и строгой справедливости»—ужъ очень это не ново; это возводитъ насъ черезъ Штольца къ Костанжогло, у котораго вѣдь тоже можно научиться «мудрости управлять труднымъ кормиломъ сельскаго хозяйства, мудрости извлекать доходы вѣрные, приобрѣтать имущество не мечтательное, а существенное»... (Гоголь; VI, 87). Другое новое дѣло Тушина заключается въ томъ, что онъ завелъ въ

своемъ имѣніи «что-то въ родѣ исправительной полиціи (!) для разбора мелкихъ дѣлъ у мужиковъ» (X, 276); это тоже очень старо, такъ какъ роднитъ Тушина съ гоголевскимъ полковникомъ Кошкаревымъ, который тоже учредилъ въ своемъ имѣніи «Комитетъ сельскихъ дѣлъ» (Гоголь; VI, 88). Во всемъ остальномъ Тушинъ тотъ же Штольцъ подъ нѣскольکو инымъ соусомъ, это «то же—иначе» приготовленное. Въ немъ мы опять встрѣчаемся «съ твердостью, почти методическою, намѣреній и поступковъ», находимъ «ненарушимую правильность взгляда», видимъ «равновѣсіе силы ума съ суммой тѣхъ качествъ, которыя составляютъ силу души и воли»; мы узнаемъ, что въ Тушинѣ кроется «безсознательная, природная, почти непогрѣшительная система жизни и дѣятельности», что въ немъ «ничто не выдается; не просится впередъ, не сверкаетъ, не ослѣпляетъ»... (X, 270—275). Однимъ словомъ, плоскость совершеннѣйшая... И когда мы слышимъ, что Тушинъ «былъ „человѣкъ“, какъ коротко и вѣрно опредѣлила его умная и проницательная Вѣра» (X, 275), то невольно думаемъ, что умная и проницательная Вѣра сама была полу-мѣщанкой (это тоже можно было бы безъ труда доказать), и что только потому она могла дать широкое, всеобъемлющее званіе «человѣка» par excellence плоскому этическому мѣщанину, жалкой помѣси Костанжогло, Кошкарева и Штольца.

Адуевъ, Штольцъ, Тушинъ—это заключительное трезвучіе пѣсни торжествующаго мѣщанства. И что это былъ бы за ужасъ, если бы Гончаровъ оказался правъ, если бы въ Штольцахъ и Тушиныхъ лежала вся будущность Россіи! (X, 275).

Мы познакомились теперь съ главными героями-мѣщанами Гончарова и надѣемся избѣжать упрека въ замалчиваніи психологической стороны развитія этихъ типовъ; дѣйствительно, насъ интересуютъ только общія причины расцвѣта мѣщанства въ русской литературѣ, и мы оставляемъ совершенно въ сторонѣ тотъ, напримѣръ, фактъ, что самъ Гончаровъ отчасти объясняетъ нѣкоторыя съ нашей точки зрѣнія мѣщанскія черты и свойства Штольца его воспитаніемъ и условіями его жизни. На эту частность мы не обращаемъ вниманія; мы ясно видимъ, что здѣсь дѣло вовсе не въ Штольцѣ, а въ самомъ Гончаровѣ: мѣщанинъ-авторъ воплощалъ въ своихъ типахъ свои мѣщанскіе идеалы, въ свою очередь явившіеся слѣдствіемъ системы и эпохи официальнаго мѣщанства.

Постараемся избѣжать довольно частой ошибки—смѣшиванія автора съ типами его произведеній, яркимъ примѣромъ чего было въ свое время отношеніе Писарева къ Евгенію Онѣгину и къ Пушкину.

Имѣемъ ли мы право говорить о мѣщанствѣ Гончарова? Дѣйствительно ли онъ является проповѣдникомъ мѣщанскихъ идеаловъ, дѣйствительно ли въ Адуевѣ, Штольцѣ и Тушинѣ воплощены его взгляды, его стремленія? Чтобы выяснитъ все это, обратимся теперь уже не къ героямъ Гончарова, а непосредственно къ нему самому; у насъ вѣдь есть такой богатый матеріалъ, какъ его дневникъ-письма 1852—1854 гг., вышедшія подъ заглавіемъ «Фрегатъ Паллада» и веденныя въ продолженіе почти трехлѣтняго кругосвѣтнаго путешествія. Интересно посмотрѣть на человѣка въ такой мало обычной для него обстановкѣ: чего же отъ него ждать, если онъ и здѣсь окажется мѣщаниномъ? А Гончаровъ оказывается таковымъ и въ этомъ экстраординарномъ случаѣ!

Представьте себѣ, что чиновникъ Адуевъ былъ бы посланъ въ кругосвѣтное путешествіе по казенной надобности; посадите его на «Фрегатъ Палладу», дайте ему литературный талантъ Гончарова— и вы получите ту «адуевщину», которая сказалась въ письмахъ и дневникѣ нашего автора. Васъ не удивитъ тогда, что Гончаровъ-Адуевъ задачей прогресса считаетъ комфортъ и глубокомысленно замѣчаетъ: «вопросъ этотъ важнѣе, нежели какъ кажется съ перваго раза» (V, 345; ср. I, 150); задача цивилизаціи—«вогнать» ананасъ на сѣверѣ въ пятакъ, и въ этомъ отношеніи «прогрессъ сдѣлалъ уже много побѣдъ» (V, 346). Комфортъ—богъ Адуева: пріѣхавъ на почти необитаемые острова (Бонинъ-Сима), Адуевъ не хочетъ сѣзжать на берегъ—ибо какъ тамъ обѣдать? «вѣдь тамъ ни стульевъ, ни столовъ!» (V, 386). Отношеніе Адуева къ природѣ не трудно предугадать заранѣе: очевидно, что Адуевъ не обладаетъ ни единой каплей чувства единенія съ природой, лиризмъ у него отсутствуетъ совершенно: недаромъ за три года путешествія и плаванія по казенной надобности вы найдете у него всего три-четыре десятка страницъ, посвященныхъ описанію природы. Согласитесь, что это очень характерно. Человѣкъ поѣхалъ вокругъ свѣта, но природа его мало интересуется: вѣдь въ природѣ царитъ такой беспорядокъ! То ли дѣло, напримѣръ, зайти въ Ботанической садъ гдѣ-нибудь въ Африкѣ, въ Капштадтѣ и сразу осмотрѣть все разсаженное въ порядкѣ: «что за наслаженіе этотъ садъ!..—восхищается Адуевъ:—все разсажено въ порядкѣ, посемейно»... (V, 172). Или вотъ, напримѣръ, тропическій лѣсъ въ Анжерѣ: «тутъ пальмы, какъ по обдуманному плану перемѣшаны съ кустами... какая оригинальная красота! Она (пальма) граціозно наклонилась; листья, какъ длинные, правильными рядами расчесанные волосы... Все кажется убрано заботливою рукою чело-

вѣка»... (V, 313). Правда, тутъ же Адуеву захотѣлось и «поэтическаго безпорядка», т.-е. опять-таки безпорядка правильнаго и прилизаннаго... И повсюду все размѣренное, аккуратное, подведенное подъ одинъ шаблонъ радуеть сердце чиновника эпохи официальнаго мѣщанства: то онъ обращаетъ свое вниманіе на дерево, которое «точно щеголевато острижено», то любитъ садомъ, въ которомъ растенія расположены «какъ картины въ галлерее», то съ любовью описываетъ, какъ «дерево къ дереву, листокъ къ листку такъ и прибраны, не спутаны, не смѣшаны въ неумышленномъ безпорядкѣ» и т. п., и т. п. (V, 341, 356; VI, 237 и др.). Конечно, все это можетъ быть красивымъ, но находить красоту *только* въ этомъ одномъ—въ высокой степени характерно для Адуева-Гончарова. Быть можетъ, однако, еще характернѣе его отношеніе къ морю, къ этой капризной стихіи, которую никакъ не втиснешь въ границы умѣренности и аккуратности; деревья можно хоть щеголевато подстричь или разсадить какъ картины въ галлерее, на радость мѣщанскому сердцу, а съ моремъ этого не сдѣлаешь... Нашъ чиновникъ, плавающій по казенной надобности, относится къ морю весьма благодушно, даже съ любовью, если море тихо, если правильная, размѣренная зыбь чуть колышетъ корабль; но лишь только начинается хотя бы небольшое волненіе, Адуевъ приходитъ въ скверное настроеніе духа и видитъ вокругъ себя только «уродливые бугры съ пѣной и брызгами» (V, 104). Въ Индійскомъ океанѣ «Фрегатъ Палладу» встрѣтилъ такой штормъ, котораго Адуевъ еще ни разу не видалъ; однако онъ спокойно сидѣлъ на своемъ комфортабельномъ, уютномъ и тепломъ мѣстѣ въ каютѣ и не шелъ на палубу. «Штормъ былъ классическій, во всей формѣ,—повѣствуетъ Адуевъ:—въ теченіе вечера приходили два два за мной сверху, звать посмотрѣть его; но какъ на мое покойное и сухое мѣсто давно уже было три или четыре кандидата, то я и хотѣлъ досидѣть тутъ до ночи»... Наконецъ нашего мѣщанина чуть не силою вытащили на палубу. «Я посмотрѣлъ минутъ пять на молнію, на темноту и на волны, которыя все силились перелѣзть къ намъ черезъ бортъ. — Какова картина? — спросилъ меня капитанъ, ожидая восторговъ и похвалъ.—Безобразіе, безпорядокъ!—отвѣчалъ я, уходя весь мокрый въ каюту, переобуть и бѣлье» (V, 305—307). Чтò сказать послѣ этого? Въ добрыя старыя времена примѣромъ «высокаго», «*du sublime*» считалось знаменитое «*qu'il mourût!*» отца трехъ Гораціевъ; но это адуевско-гончаровское «безобразіе, безпорядокъ!» не съ равнымъ ли правомъ можетъ считаться

примѣромъ «sublime» въ мѣщанствѣ, ибо выше этого мѣщанство никогда ничего не создавало...

Я не путешествовалъ, я плавалъ «по казенной надобности», сознался впоследствии, «черезъ двадцать лѣтъ» самъ Гончаровъ (VII, 255),—и никогда въ жизни онъ не сказалъ ничего болѣе справедливаго. Своимъ дневникомъ и письмами изъ путешествія онъ доказалъ, что между нимъ и его мѣщанскими героями можно съ увѣренностью поставить знакъ равенства, что самъ онъ такой же мѣщанинъ, какъ Адуевъ, Штольцъ и Тушинъ вмѣстѣ взятые. Письма и путевыя впечатлѣнія Гончарова по своему значенію діаметрально противоположны «Письмамъ русскаго путешественника» Карамзина: тѣ были началомъ борьбы съ литературнымъ мѣщанствомъ, эти—наоборотъ, фиксированіемъ въ художественномъ словѣ идеаловъ этического мѣщанства. Гончаровъ, сказали мы, это идеологъ этического мѣщанства, это лѣсъ торжествующаго мѣщанства, сломившаго такихъ титановъ мысли и чувства, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь.

Гончаровъ какъ будто предчувствовалъ, что впоследствии его типы будутъ объяснены его же собственной личностью. Это его возмущало. Надо довольствоваться тѣмъ, что далъ авторъ своими типами, говоритъ Гончаровъ, и негодуешь, что этимъ не удовлетворятся критики и историки литературы: «начнутъ добираться, каковъ былъ самъ дѣятель, разбираютъ связь писателя или художника съ его произведеніями, согласенъ ли его характеръ, нравственныя свойства съ тѣмъ, что имъ выражено, и почему, и какъ? (II, 232; «Нарушеніе воли»). Мы уже имѣли случай указать, что это взглядъ глубоко невѣрный, узкій, мѣщанскій, стремящійся насильственно изолировать художника отъ человѣка, сдѣлать изъ перваго какую-то схему, абстракцію; нисколько не удивительно, что такого взгляда держался именно Гончаровъ. Но мы и не нарушили его воли: не коснулись его неопубликованной, а отчасти и опубликованной переписки, не упомянули о различныхъ особенностяхъ его мирной бюрократической жизни, хотя объ этомъ въ сущности и слѣдовало упомянуть, такъ какъ вторая половина жизни Гончарова—это естественнѣйшее и потрясающее по силѣ продолженіе и окончаніе испорченнаго Гончаровымъ конца «Обыкновенной исторіи». Въ борьбѣ съ мѣщанствомъ жизни трагически погибли Пушкинъ и Лермонтовъ, еще трагичнѣе ихъ—Гоголь, но трагедія ихъ смерти—ничто передъ поистинѣ потрясающимъ зрѣлищемъ смерти Гончарова. «Нормальное назначеніе человѣка прожить четыре времени года, т.-е. четыре возраста, безъ скачковъ, и донести сосудъ жизни до послѣдняго дня, не проливъ ни

одной капли напрасно»... — такъ когда-то пророчески предсказаль себя свою жизнь Гончаровъ устами Штольца; и онъ прожилъ «нормально» до глубокой старости. Его конецъ — медленное, ровное угасаніе, его конецъ — сплошной, несознаваемый имъ ужасъ: достаточно прочесть отрывочныя воспоминанія о послѣднихъ годахъ его жизни, изрѣдка появлявшіяся въ печати... Послѣдніе годы жизни Гоголя — это мирное и безболѣзненное угасаніе, по сравненію съ тѣмъ ужасомъ пошлости, который окружаетъ конецъ Гончарова и о которомъ мы не будемъ говорить, не желая нарушить волю величайшаго изъ представителей мѣщанства. Такъ заплатило мѣщанство жизни своему вѣрному ученику и убѣжденному проповѣднику...

Но это между прочимъ; мы видѣли, что полное собраніе сочиненій Гончарова, т.-е. то, что самъ же онъ предназначилъ для публики, вполне достаточно для тѣхъ выводовъ, которые нами уже построены выше. Чтобы дополнить ихъ, остановимся еще немного на внѣшней сторонѣ его произведеній и на общемъ значеніи его романовъ. Какъ романистъ, Гончаровъ мелокъ. «На глубину я не претендую», говоритъ онъ самъ про себя (I, 39), но съ недостаточной искренностью, какъ увидимъ сейчасъ. Въ его романахъ главное достоинство — красочное и жизненное изображеніе обыденной жизни; но и въ этомъ изображеніи у него все такъ ясно, такъ просто, понятно, спокойно — и именно потому, что все неглубоко. Точно слегка задѣта вѣтеркомъ спокойная поверхность воды: вы не увидите здѣсь бурно перекатывающихся волнъ, высоко вздымающихся и глубоко падающихъ валовъ, обнажающихъ чуть не самое дно (Толстой, Достоевскій); передъ нами тихая рябь, расходящаяся на большое пространство круги — и безстрастный, «объективный» авторъ съ записной книжкой въ одной рукѣ и фотографическимъ аппаратомъ въ другой. Онъ пытается сфотографировать душу человѣка, очевидно полагая вмѣстѣ съ Карамзинымъ, что «описаніе дневныхъ упражненій человѣка есть вѣрнѣйшее изображеніе его сердца» («Наталья боярская дочь»): на языкѣ Гончарова это описаніе дневныхъ упражненій называется психологическимъ анализомъ. (На эту «внѣшность» психологическаго анализа Гончарова обратилъ вниманіе еще Писаревъ въ статьѣ «Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ»). По этому рецепту Гончаровъ воспроизводитъ безконечно длинные разговоры дѣйствующихъ лицъ, иногда на протяженіи двухъ печатныхъ листовъ (!) — это и есть психологическій анализъ (см., напр., I, 171—191; 245—268; вся первая часть «Обрыва»; затѣмъ. IX, 69—80; 127—139; 182—188; X, 19—27, 68—108 и др.). Все это, конечно, не обиліе мысли, а обиліе фразъ;

Гончаровъ «объективно» скользитъ по поверхности, не проникая въ глубь. Объективностью своей онъ гордился; sine ira—заявляетъ онъ— законъ объективнаго творчества» (I, 66); по его мнѣнію, писатель «долженъ обзрѣвать покойнымъ и свѣтлымъ взглядомъ жизнь людей вообще, иначе выразить только свое я, до котораго никому нѣтъ дѣла» (II, 45—46)... И по ироніи судьбы онъ совершенно невольно выразилъ свое мѣщанское «я» во всѣхъ своихъ «объективныхъ» произведеніяхъ. Гончаровъ забылъ завѣтъ Бѣлинскаго, по которому объективность должна заключаться въ безпристрастіи, а не въ безстрастіи; но въ безстрастіи Гончарова именно нѣтъ безпристрастія: онъ безстрастенъ, но въ то же время пристрастенъ къ своимъ мѣщанскимъ героямъ, онъ идеологъ этического мѣщанства.

Съ внѣшней стороны Гончаровъ такой же мѣшанинъ, какъ и по существу; самая его объективность есть не иное что, какъ кристаллизовавшееся въ художественномъ словѣ мѣщанство; рѣчь его течетъ плавно, размѣренно, аккуратно, и онъ вполне на высотѣ своей задачи, пока описываетъ повседневныя «дневныя упражненія чело-вѣка»... Но стоитъ ему хоть немного уклониться отъ описанія обыденныхъ «дневныхъ упражненій», стоитъ ему попытаться изобразить нѣчто болѣе или менѣе выходящее изъ ряда обыденности, какъ немедленно въ результатъ получается безвкусіе, незнаніе чувства мѣры, банальщина, шаблонъ, — безразлично, въ описаніи ли картинъ природы или дневныхъ упражненій чело-вѣка.—Тогда у него «море синее-пресинее», тогда «солнечный шаръ злобно мечетъ отвѣсныя стрѣлы»; тогда онъ, описывая закатъ солнца (описаніе почему-то считающееся классическимъ), впадаетъ въ тонъ ультра-романтизма, пересыпаетъ свой рассказъ напыщенными и холодными метафорами въ стилѣ Марлинскаго и безвкусно заканчиваетъ свой рассказъ стихами Бенедиктова, къ слову сказать, его друга и пріятели (V, 151—5, 328; VI, 235 и др.). Тогда въ «Обломовѣ» Ольга «какъ ангелъ восходитъ на небеса, идетъ на гору»; тогда въ «Обрывѣ» Волоховъ проповѣдуетъ невѣроятную заборную мораль, Вѣра работаетъ «съ адскимъ проворствомъ», ея овладѣваетъ «дикая дѣятельность», она въ пять минутъ «передѣлаетъ бездну» (III, 351; VIII, 376). Вѣдь это уже литературный маразмъ, это полное безсиліе аккуратнаго мѣщанина-писателя хоть на минуту выйти изъ рамокъ обыденности. Еще печальнѣе результаты попытокъ Гончарова выйти изъ мѣщанской плоскости во внутреннемъ значеніи своихъ романовъ, придать имъ тотъ смыслъ и глубину, которыхъ они отнюдь не имѣютъ. «На глубину я не претендую», — заявилъ однажды самъ Гончаровъ (въ статьѣ «Лучше

поздно, чѣмъ никогда»), но въ той же статьѣ черезъ нѣсколько страницъ забылъ о своемъ заявленіи и попытался проявить свою глубину синтезомъ трехъ своихъ романовъ въ одну громадную трилогію. Эти потуги кровнаго мѣщанина на глубину представляютъ поистинѣ жалостное, траги-комическое зрѣлище. Пытаясь углубить всяческими правдами и неправдами смыслъ своихъ романовъ, Гончаровъ считаетъ Райскаго «проснувшимся Обломовымъ», въ бабушкѣ хочетъ видѣть аллегорію на «великую бабушку — Россію», разрушенную бесѣдку на днѣ обрыва сравниваетъ съ Севастополемъ; «паденіе» Вѣры, это — паденіе Севастополя и въ то же время паденіе вообще русской женщины въ періодъ эмансипаціи 60-хъ годовъ (I, 52, 61—2, 68 и др.)... Въ этихъ потугахъ — трагедія безкрылаго мѣщанства, пытающагося подняться на орлиную высоту. Правда, и Толстой, и Достоевскій рисовали иногда жанровыя картины, не претендующія на глубокой смыслъ, но вѣдь хотя

Орламъ случается и ниже куръ спускаться,
Но курамъ никогда до облакъ не подняться...

Въ лицѣ Гончарова этическое мѣщанство выдало само себѣ *testimonium pauperitatis*; побѣдная пѣснь торжествующаго мѣщанства оказалась опереточно-шаблоннымъ произведеніемъ и окончилась жалкимъ пискомъ безсилія...

Мы не хотимъ быть несправедливыми къ Гончарову: онъ все-таки большой талантъ, но до сихъ поръ слишкомъ ужъ преувеличивали его значеніе и мѣсто въ русской литературѣ, увлекаясь осужденіемъ обломовщины Гончаровымъ и смотря сквозь пальцы на его апологію адуевщины. Гончаровъ — талантъ, и историкъ литературы не пройдетъ мимо него, но несправедливо выдвигать его въ первые ряды; въ литературѣ Гончаровъ играетъ приблизительно ту же роль, какъ В. Маковский въ живописи: оба они талантливыя жанристы, но, познакомившись разъ съ ихъ картинами, спѣшишь невольно пройти дальше и отдохнуть на чемъ-нибудь болѣе яркомъ, красочномъ, глубокомъ.

Со вздохомъ облегченія простимся съ Гончаровымъ и мы, выходя изъ затхлой атмосферы этическаго мѣщанства снова на солнце и на воздухъ. Съ этимъ чувствомъ мы вообще прощаемся съ системой официалнаго мѣщанства для того, чтобы перейти къ борцамъ и побѣдителямъ ея. Этическое мѣщанство, мѣщанство жизни сломило Пушкина и Лермонтова, насмѣялось надъ Гоголемъ и побѣдоносно выступило съ деклараціей своихъ правъ въ произведеніяхъ Гончарова; но оно слишкомъ торопилось торжествовать побѣду. Въ то время, когда трагически гибли одинъ за другимъ Пушкинъ, Лермонтовъ и

Гоголь, когда Гончаровъ выступалъ увѣреннымъ идеологомъ мѣщанства, когда система оффиціального мѣщанства пыталась окончательно задавить личность—въ борьбу съ мѣщанствомъ во всѣхъ его проявленіяхъ выступили лучшіе русскіе люди, соль нашей интеллигенціи. Люди тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, западники, славянофилы, Бѣлинскій, Герценъ дали этическому мѣщанству рѣшительную битву—и побѣжденное мѣщанство разсѣялось туманомъ при свѣтлой зарѣ шестидесятыхъ годовъ. Жаль только, что побѣда эта не была окончательная...

Эпоха оффиціального мѣщанства создала типичныхъ мѣщанъ; она же создала и «лишнихъ людей», знакомствомъ съ которыми мы закончимъ эту главу, ибо лишніе люди — прямое слѣдствіе эпохи оффиціального мѣщанства. Лишніе люди появляются въ двадцатыхъ годахъ, въ эпоху аракеевскаго предисловія къ системѣ оффиціального мѣщанства. Разочарованность, исканіе и протестъ—таковы ихъ главныя черты въ различныхъ сочетаніяхъ; лишними людьми являются и Кавказскій Плѣнникъ, и Алеко, и Чацкій. Если разочарованность и исканіе болѣе всего характеризуютъ Алеко и Плѣнника, то исканіе и протестъ наиболѣе характерны для Чацкаго, въ которомъ Бѣлинскій вполнѣ основательно видѣлъ «энергическій (и притомъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности»... Мы знаемъ, что Чацкій погибъ, но его революціонное значеніе въ борьбѣ съ мѣщанствомъ не погасло вмѣстѣ съ нимъ. Послѣ 1825 года десятки и сотни Чацкихъ или отправились «доставать для Россіи по три пуда руды въ день», или остались убивать свой вѣкъ (подобно Чаадаеву) въ атмосферѣ оффиціального мѣщанства. Лишніе люди начинаютъ появляться все чаще и чаще.

Прежде всего явился безвольный, слабый, тоскующій, незнающій куда приложить свой силы Онѣгинъ, пробавляющійся чайльдъ-гарольдствомъ и кутающійся въ демоническую тогу, которая ему была совершенно не къ лицу. «Евгеній Онѣгинъ»—первое произведеніе Пушкина, въ которомъ поэтъ проявилъ всю силу, всю мощь своего реализма; впервые изъ-подъ пера поэта родился на свѣтъ живой конкретный образъ. Это былъ разрывъ съ байроническимъ псевдо-романтизмомъ. По внѣшности Онѣгинъ похожъ еще на героевъ Байрона, онъ «москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ», но онъ совершенно отличенъ отъ нихъ по своимъ внутреннимъ свойствамъ и качествамъ. Насколько сильны духомъ и волею байроновскіе герои, настолько же слабъ и безволенъ Онѣгинъ; подобно имъ, онъ тоже одинокъ, но они одиноки отъ избытка силы, Онѣгинъ же одинокъ отъ слабости: онъ

переросъ мѣщанскую толпу, но не имѣеть, силы вырваться изъ нея, и, слабый въ своемъ одиночествѣ, предпочитаетъ задрапироваться «въ гарольдовъ плащѣ». Въ то время какъ могучихъ героевъ Байрона мучаютъ проклятые вопросы:

Зачѣмъ я существую? Ты зачѣмъ
Несчастенъ самъ? Зачѣмъ всѣ въ мірѣ твари
Несчастны такъ?

— вопросы, столь трагически развитые въ послѣдствіи Достоевскимъ —
Онѣгина тревожатъ вопросы въ нѣсколько иномъ стилѣ:

Зачѣмъ какъ тульскій засѣдатель
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма?..

Но несмотря на это нѣсколько комичное сопоставленіе, и Онѣгина въ сущности мучаютъ тѣ же вопросы о цѣли жизни: «чего мнѣ ждать?»—спрашиваетъ онъ нѣсколько ниже. Во всякомъ случаѣ, исканія у него нельзя отнять; онъ не могъ ужиться съ «безсмысленнымъ народомъ», въ мѣщанской средѣ, но въ то же время онъ былъ настолько безволенъ и слабъ, что не могъ разорвать съ этимъ мѣщанствомъ: «шопоть, хохотня глупцовъ» и «общественное мнѣнье» этой же самой мѣщанской толпы сильнѣе для него голоса его собственной совѣсти, Какая ужъ тутъ сила демонизма въ героѣ, трепещущемъ передъ мѣщанской толпой! Самъ Пушкинъ сравнивалъ своего героя съ «Демонномъ»—изъ стихотворенія, написаннаго имъ одновременно съ первой главой «Евгенія Онѣгина» (гл. VIII, строфа XII); но, конечно, въ Онѣгинѣ мы не найдемъ ничего демоническаго. Демонъ Пушкина — не мрачный Люциферъ, а, выражаясь словами Бѣлинскаго, только мелкій чертенокъ; не гордый Master of Spirits Байрона, но мелкій и плоскій бѣсъ, представитель дьявольской черни, толпы, мѣщанства. Если этотъ чертенокъ—олицетвореніе сомнѣнія, по толкованію самого Пушкина, овладѣлъ умомъ Онѣгина, то это опять-таки происходило только отъ слабости послѣдняго: онъ не имѣлъ силы идти дальше шаблоннаго отрицанія, — отрицанія въ конечномъ счетѣ понятнаго, ненужнаго, наивнаго. *Полное отсутствіе силы — характерная черта любимаго героя Пушкина (а потому и самого Пушкина).* Ярче всего это сказалося въ отношеніи нашего поэта къ «истинѣ», такъ ясно оттъняющимъ основныя черты характера и Байрона, и Пушкина, и Лермонтова, и Онѣгина, и Печорина, и вообще всѣхъ «лишнихъ людей».

Только орелъ можетъ прямо смотрѣть на солнце, только сильный духомъ можетъ смотрѣть прямо въ глаза истинѣ. Такъ прямо въ глаза смотрѣли ей могучіе герои Байрона. Каинъ отождествляетъ «правду-истину» и «правду-справедливость», категорію логическую и этическую; для него знаніе есть добро и добро есть знаніе; Люциферъ потомъ повторяетъ, что

...истина по существу ея
Быть можетъ только благомъ,

а потому смѣло смотритъ ей въ глаза:

А я, что знаю все, я не страшусь
Ни передъ чѣмъ: вотъ истинное знанье!

Конечно, ничего подобнаго мы не найдемъ у Пушкина. Какъ слабый человѣкъ, онъ невольно опускалъ взоры передъ «истиной», если она оскорбляла поэта, разрушала его иллюзіи. Поэтъ не хочетъ *такой истины*,

...Нѣтъ,
Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ!

Въ этомъ отношеніи поэта къ «истинѣ» выразилось одновременно и его индивидуалистическое настроеніе, и его дань духовной слабости. Пушкинъ отчасти подобно Карамзину предлагалъ поэту устремиться «въ міръ сладкихъ грезъ» и «обманывать себя самихъ и тѣхъ, кто достоинъ быть обманутымъ»; а отчасти требовалъ *примата чловѣка надъ истиной*. *Pergeat mundus fiat justitia* — такъ понималъ Пушкинъ приматъ истины, и, конечно, проклиналъ такое подавленіе чловѣка абстракціей. Отрицаніе авторитета абсолютной истины, такъ сильно сказавшейся на закатѣ XIX-го вѣка (субъективисты; Ибсенъ, «Дикая утка»; Горькій, «На днѣ») имѣетъ въ русской литературѣ Пушкина своимъ первымъ представителемъ. Нечего и прибавлять, какъ прокликаетъ Пушкинъ эту истину, этотъ

... правды свѣтъ,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, къ соблазну жадной
Онъ угождаетъ праздно...

т.-е., иначе говоря, когда онъ служитъ на пользу тупому и плоскому

этическому мѣщанству. Эта точка зрѣнія Пушкина характерна не только для него и Онѣгина, но и для большинства лишнихъ людей ¹⁾).

Вслѣдъ за Онѣгинымъ явилась цѣлая толпа москвичей въ гарольдовомъ плащѣ, героевъ ультра-романтизма. На нихъ, конечно, нечего останавливаться. Но вотъ на рубежѣ между тридцатыми и сороковыми годами появляется Печоринъ, этотъ герой своего времени лишній человѣкъ со многими новыми характерными чертами. Прежде всего Печоринъ на первый взглядъ — сильный человѣкъ; онъ — сила, сила великая, онъ дѣйствительно «герой» (доказательству «героизма» типовъ Лермонтова посвященъ очеркъ Михайловскаго «Герой безвременья»). Но надо сейчасъ же прибавить, что сила эта находится отчасти въ потенциальномъ состояніи, а отчасти она невѣрно направлена. Въ этой невѣрно направленной силѣ — вся слабость Печорина и причина того, что и онъ былъ въ дѣйствительности лишнимъ человѣкомъ; невѣрно направленная сила, отчасти въ потенциальномъ состояніи — вотъ самое яркое опредѣленіе Печорина и, конечно, самого Лермонтова. Самъ Лермонтовъ прекрасно сознавалъ всю слабость силы свою и своего героя. «Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился? — пишетъ Печоринъ въ концѣ своего дневника:—а вѣрно она существовала и вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя... Но я не угадалъ этою назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ»... (курсивъ нашъ). Лермонтовъ не могъ дать болѣе вѣрнаго опредѣленія и своему герою и себѣ...

Какъ сильный человѣкъ, Печоринъ смотрѣлъ истинѣ безтрепетно въ глаза. Лермонтовъ съ жестокой беспощадностью вскрывалъ передъ самимъ собою жестокую правду жизни, хотя и испытывалъ постоянную тоску. Конечно, тоска эта не Weltschmerz, которую хотѣлъ видѣть въ себѣ и своихъ герояхъ Лермонтовъ, но она также и не тотъ Katzenjammer, которымъ объяснялъ себѣ героевъ демонизма Писаревъ: тоска эта — неизбѣжное слѣдствіе сознанія невѣрно направленныхъ и безцѣльно растраченныхъ громадныхъ силъ. Мы знаемъ, что раздвоенность дѣйствія и сознанія характеризуетъ собой Лермон-

¹⁾ Впослѣдствіи мы увидимъ, что въ этомъ вопросѣ объ истинѣ необходимо различать *quaestio facti* отъ *quaestio juris*; см. т. II, гл. VII. — О «Евгении Онѣгинѣ» и вообще лишнихъ людяхъ см. нашу подробную статью въ соответствующемъ выпускѣ нашей «Историко-литературной библіотеки», а также въ III томѣ собранія сочин. Пушкина изд. Брокгаузъ-Ефрона.

това; мы видѣли, что двѣ души, реалиста и романтика, живутъ въ его груди, что изъ нихъ

Die eine will sich von der andern trennen,
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt, mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefühlen hoher Ahnen.

Въ этомъ раздвоеніи — новая черта, въ высшей степени характерная для идущихъ вслѣдъ за Печоринимъ лишнихъ людей. Намъ не для чего повторять, конечно, что Печоринъ былъ яркимъ воплощеніемъ анти-мѣщанства — черта опять-таки характерная для лишняго чело-вѣка.

До сихъ поръ мы видѣли отдѣльныхъ представителей лишнихъ людей, первыхъ ласточекъ, появляющихся по одиночкѣ. Но ласточка одна не дѣлаетъ весны, два-три героя своего времени, лишнихъ чело-вѣка, еще не создали собою типа лишнихъ людей вообще. Однако вскорѣ послѣ Печорина, на исходѣ сороковыхъ годовъ, лишніе люди появляются въ русской литературѣ цѣлыми стаями, особенно въ эпоху террора системы официальнаго мѣщанства. Бельтовъ Герцена, Эльчаниновъ и Шамиловъ Писемскаго, Агаринъ Некрасова, Лузгинъ, Буе-ракинъ и вообще «талантливыя натуры» Салтыкова; наконецъ всѣ ге-рои лучшихъ рассказовъ Тургенева—лишніе люди, и всѣ они появи-лись въ періодъ 1847—1856 гг. Мы познакомимся съ наиболѣе яркими изъ этихъ героевъ и тогда, наконецъ, будемъ въ состояніи сдѣлать нѣкоторый общій выводъ о типѣ лишняго чело-вѣка въ русской жизни и литературѣ второй четверти XIX столѣтія.

Сначала остановимся на самыхъ безцвѣтныхъ и ничтожныхъ представителяхъ лишнихъ людей. Вотъ передъ нами «Дневникъ лиш-няго чело-вѣка» (Тургеневъ; 1850 г. ¹⁾). Авторъ дневника, помѣщикъ Чулкатуринъ, самъ себя окрестилъ лишнимъ чело-вѣкомъ и съ его легкой руки названіе это широко распространилось въ литературѣ и жизни (хотя раньше и Бѣлинскій и Герценъ употребляли тотъ же терминъ). «Лишній, лишній... отличное это я придумалъ слово», ра-дуется Чулкатуринъ и объясняетъ, что такое лишніе люди: эти люди сверхштатные, которыми обременилась мать-природа: ихъ свойство— прежде всего бесполезность, а затѣмъ — слабость, изъ которой ро-ждается заѣдающая жизнь рефлексія (ею страдали всѣ лишніе люди).

¹⁾ Цитаты по изданію Маркса 1898 г.

Чулкатуринъ вѣрно объясняетъ ея происхожденіе *раздвоенностью* лишняго человѣка, у котораго (также какъ и у его предшественника Чацкаго) вѣчно былъ «умъ съ сердцемъ не въ ладу», и между чувствами и мыслями и ихъ выраженіемъ находилось какое-то непонятное препятствіе, побѣдить которое мѣшала слабость. «Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога», — рассказываетъ Чулкатуринъ:— «я разбиралъ самого себѣ до послѣдней ниточки, сравнивалъ себя съ другими... толковалъ все въ дурную сторону, язвительно смѣялся надъ своимъ притязаніемъ *быть какъ всѣ...*» (V, 191). А между прочимъ все горе этого лишняго человѣка именно въ томъ-то и состоитъ, что онъ въ высокой степени приближается къ идеалу «быть какъ всѣ», иначе говоря, къ мѣщанству, выше котораго его ставитъ только сознаніе, ненависть къ мѣщанству и тщетныя попытки выйти, выбиться изъ плоскости и безличія; изъ многихъ лишнихъ людей онъ ближе всего стоитъ къ мѣщанству, несмотря на всю свою ненависть къ нему. Чтò сдѣлало его такимъ — онъ не знаетъ, но зато хорошо знаемъ мы; мы знаемъ, что Чулкатуринъ родился въ самомъ началѣ эпохи официальнаго мѣщанства, что молодость его совпала съ тяжелымъ давленіемъ системы, что агонія его совпадаетъ съ апогеемъ этой системы; послѣ этого личная жизнь этого лишняго человѣка намъ не интересна: «скромныя удовольствія, смиренныя занятія, умѣренныя желанія» (V, 189), тщетныя попытки вырваться изъ этого заколдованнаго круга, ненужная жизнь... Надо замѣтить только, что въ Чулкатуринѣ есть много черточекъ и свойствъ чисто индивидуальныхъ, не характерныхъ вообще для лишняго человѣка; онъ является придавленнымъ не только эпохой, но и самой природой: въ противоположность большинству лишнихъ людей обдѣленъ даже даромъ слова, такъ что свои даже оригинальныя мысли онъ высказываетъ безсвязно и неумѣло (V, 192). Большинство лишнихъ людей — талантливыя натуры, и въ прямомъ смыслѣ и въ ироническомъ, какъ у Салтыкова; Чулкатуринъ же во всѣхъ отношеніяхъ безталанный лишній человѣкъ; вотъ почему его дневникъ производитъ поистинѣ тяжелое впечатлѣніе, такъ что невольно соглашаешься съ заключительными строками: «Сью рукопись читалъ И Содѣржаніе Онной Нѣ Одобрилъ Пѣтръ Зудотѣшинъ». Дѣйствительно, одобрять тутъ нечего.

Близкимъ родственникомъ Чулкатурина является Гамлетъ Щигровскаго уѣзда; едва ли это не самъ Чулкатуринъ, выздоровѣвшій, получившій даръ слова. Все та же горькая мѣщанская участь, все та же ненависть къ мѣщанству сплетаются въ немъ роковымъ узломъ. Не будемъ попрежнему принимать во вниманіе нѣкоторыхъ частныхъ,

индивидуальныхъ черточекъ характера нашего російскаго Гамлета: онъ робокъ, самолюбивъ, онъ чудакъ, «оригиналь»—не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что въ этомъ Гамлетѣ трагически сплетены индивидуализмъ и, мѣщанство и онъ самъ сознаетъ это; онъ самъ заявляетъ, что «заѣденъ рефлексіей, и непосредственнаго нѣтъ во мнѣ ничего» (I, 290),—но дорого бы далъ, чтобы обладать этой непосредственностью. Онъ забить средой, заѣденъ ею не хуже, чѣмъ рефлексіей; онъ «смирился» духомъ и впалъ въ тупую пассивность отчаянія (I, 304—306). Мѣщанская безличность была его постоянной спутницей; «я лѣпилъ самого себя, словно мягкій воскъ,—жалуется онъ,—и жалкая моя природа ни малѣйшаго не оказывала сопротивленія» (I, 296). Но въ то же самое время природа одарила его богаче, чѣмъ Чулкатурина: онъ приближается къ остальнымъ лишнимъ людямъ уже тѣмъ однимъ, что онъ—человѣкъ слова, способный «болтать, болтать—безъ умолку... и все о томъ же» (I, 298). Правда, для этого ампула у него не хватило оригинальности, такъ по крайней мѣрѣ жалуется онъ самъ; не удержавшись на фразѣ, онъ съ головой окунулся въ мѣщанское болото—и застрялъ въ немъ, сознавая при этомъ—здѣсь вся трагедія лишнихъ людей—всю плоскость и узость мѣщанства, понимая, что въ развитіи личности одно спасеніе. Онъ гибнетъ отъ сознанія, что онъ рѣшительно таковъ же, «какъ всѣ», что въ немъ все—книжность, нѣтъ ни капли индивидуальности, «собственного запаха»,—и что онъ не можетъ выйти изъ этого заколдованнаго круга подавляющаго безличія. «Что мнѣ въ томъ, что у тебя голова велика и умѣстительна,—обращается онъ къ многочисленнымъ російскимъ Гамлетамъ и Чулкатуринымъ,—и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь—да своего-то, особеннаго, собственнаго у тебя ничего нѣту!.. Нѣтъ, ты будь глупъ, да по-своему! Запахъ свой имѣй, свой собственный запахъ, вотъ что!» (I, 291). Этой самобытности, индивидуальности, нѣтъ у мѣщанъ, основное свойство которыхъ трафаретность; отъ этой же трафаретности гибнуть Гамлеты разныхъ уѣздовъ, гибнуть Чулкатурины, такъ какъ слабость мѣшаетъ имъ избавиться отъ безличности, а безличность усиливаетъ ихъ слабость.

Намъ нѣтъ необходимости останавливаться на другихъ, такихъ же мелкихъ лишнихъ людяхъ; всѣ эти Веретьевы, Лузины, Агарины такъ же сильно ненавидятъ мѣщанство и такъ же безсильно подчиняются ему. «Размѣры насъ душатъ,—жалуется, на примѣръ, Лузинъ:—природа у насъ широкая, желалъ бы захватить вдоль и поперекъ, а размѣры маленькіе»... Въ этомъ вина отчасти и самихъ лишнихъ людей, но прежде всего и главнымъ образомъ—эпохи, которая тщательно

суживала всякую широту размаха. Одинъ изъ лишнихъ людей, герой тургеневской «Переписки» (1855 г.) отмѣтилъ это «хитросплетеннымъ», но образнымъ и вѣрнымъ сравненіемъ (которымъ вскорѣ, какъ мы увидимъ, воспользовался Добролюбовъ): дождь падаетъ на землю, но составляется изъ испареній, поднимающихся съ той же земли, — такъ и судьба каждаго изъ насъ не съ неба падаетъ, но сперва образуется около насъ самихъ (VI, 157). Конечно, это примѣнимо не только къ однимъ лишнимъ людямъ, но къ нимъ примѣнимо въ особенности.

Гг. Чулкатурины, Веретьевы и имъ подобные Гамлеты различныхъ уѣздовъ Россійской имперіи составляютъ только низшую и худшую часть группы лишнихъ людей. Конечно, они неизмѣримо выше представителей добродѣтельнаго мѣщанства и адуевщины, этихъ Тушиныхъ, Штольцевъ и всѣхъ иже съ ними; конечно, въ нихъ есть многія характерныя черты лишнихъ людей — анти-мѣщанство, раздвоенность, исканіе, протестъ, — но при всемъ томъ на дѣлѣ они еще безсильно подчиняются ненавистному имъ мѣщанству. Слегка познакомившись съ худшими представителями лишнихъ людей, мы перейдемъ теперь къ знакомству и съ лучшими ихъ представителями — напри- мѣръ, съ Бельтовымъ и Рудинымъ. Этого знакомства будетъ совершенно достаточно для возможности построенія нѣкоторыхъ общихъ выводовъ.

Раздвоенность — главная черта и Бельтова, и Рудина, и другихъ лучшихъ лишнихъ людей. Съ одной стороны — реалистическія тяготѣнія, съ другой — романтическіе порывы; всѣ они поэтому братья по духу лермонтовскаго Печорина, хотя и безъ его демонизма. Эти лишніе люди задыхались въ своемъ стремленіи вырваться, во-первыхъ, изъ мѣщанства, во-вторыхъ — изъ реалистическаго міровоззрѣнія; въ этомъ тщетномъ стремленіи всѣхъ ихъ «рефлексія заѣла» и непосредственнаго въ нихъ не осталось ничего. Всѣмъ этимъ они показали свою величайшую слабость, которая составляетъ характерную черту всѣхъ лишнихъ людей.

Вотъ, напри- мѣръ, Бельтовъ. Жилъ онъ только для того, чтобы «промаячить жизнь»; поэтому онъ за все хватался и все бросалъ на поль-дорогѣ — юриспруденцію, медицину, живопись... Сдѣлать что-нибудь онъ не можетъ, и самъ называетъ себя «безполезнымъ чело-вѣкомъ». Онъ понимаетъ, что это почти фатально, что надо измѣнить не себя, а условія среды, т. е. побѣдить въ борбѣ за индивидуальность; но для этого у него не хватаетъ силъ. «Кандидатовъ на все довольно, — утѣшаетъ себя онъ: — понадобится исторіи — она беретъ ихъ; нѣтъ — ихъ дѣло, какъ промаячить жизнь»... И онъ маячитъ жизнь, не при-

нимаясь за дѣло, но гордясь зато, что имѣть «трезвый взглядъ, можетъ, безотрадный, грустный, но зато истинный»; иными словами, онъ сталъ отчасти пессимистомъ, отчасти индифферентистомъ. На это самъ Герценъ устами Père Joseph'a справедливо возражаетъ: «не должно же тотчасъ класть оружіе; достоинство жизни человѣческой въ борьбѣ... награду надо выстрадать—но этотъ голосъ сильнаго человѣка пропадаетъ для Бельтова втунѣ. Его тоже «рефлексія заѣла», какъ жалуется нѣсколько лѣтъ спустя Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, и этимъ опять возмущается Герценъ, ставя мѣткій діагнозъ устами д-ра Крупова: «думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подастъ пресквернаго квасу—это своего рода безуміе... это одна изъ моральныхъ эпидемій, наиболѣ развитыхъ въ наше время».—Во всемъ предыдущемъ читатель могъ усмотрѣть нѣкоторыя мѣщанскія черты Бельтова, — и дѣйствительно, не малая толика ихъ въ немъ налицо: тутъ и слабость, и книжность, и индифферентизмъ; но сейчасъ же необходимо отмѣтить и яркія анти-мѣщанскія черты этого лишняго человѣка. Тупой бюрократизмъ эпохи официальнаго мѣщанства нашель въ немъ своего злѣйшаго врага. Бельтовъ поступилъ на службу, но не дослужилъ четырнадцати лѣтъ и шести мѣсяцевъ до пятнадцатилѣтняго юбилея своей службы — онъ не вынесъ этой затхлой атмосферы, гдѣ чувствовалъ себя отлично его современникъ, дядюшка Адуевъ. Для окружающихъ его чиновниковъ Бельтовъ былъ «протестъ, какое-то обличеніе его жизни, какое-то возраженіе на весь порядокъ ея». Также ненавистно Бельтову и мѣщанство вообще; онъ знаетъ, что лишніе люди (и онъ въ томъ числѣ) не могутъ удовлетвориться узкой и плоской жизнью безличнаго мѣщанства: «всего рѣже выходятъ изъ нихъ тихіе, добрые люди, — говоритъ Герценъ о лишнихъ людяхъ;—ихъ беспокоятъ у домашняго очага ѣдкія мысли»—конечно, все о томъ же мѣщанствѣ ихъ жизни. Говоря объ этой ненависти Бельтова къ мѣщанству, Герценъ замѣчаетъ, что это не индивидуальное свойство Бельтова, а вообще всѣхъ лишнихъ людей: «нашей душѣ несвойственна эта среда (филистерски-нѣмецкая, патріархально-мѣщанская); она не можетъ утолять жажды такимъ жиденькимъ винцомъ: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже—но въ обоихъ случаяхъ шире». Мы уже имѣли случай упоминать объ этихъ словахъ.—Итакъ, Бельтовъ типичный лишній человѣкъ, слабый, мятущийся; злѣйшій врагъ мѣщанства—съ мѣщанскими черточками характера; человѣкъ ищущій и не находящій. Силы его подавлены тяжелой системой эпохи; онъ одинокъ, онъ не видитъ союзниковъ:—вокругъ все такіе же одинокіе лишніе люди. «Я точно герой нашихъ народныхъ ска-

зокъ,—грустно замѣчаетъ Бельтовъ,—ходилъ по всѣмъ распутьямъ и кричалъ—есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?—но живъ человѣкъ не откликнулся». Въ этихъ словахъ вся трагедія личности эпохи оффиціального мѣщанства: система все задавила, живъ человѣкъ не откликнулся...

Рудинъ, подобно Бельтову и другимъ лучшимъ лишнимъ людямъ, всю свою жизнь провелъ въ исканіи, въ несознанномъ стремленіи за предѣлы предѣльнаго. Онъ самъ не знаетъ, за что схватиться. Онъ человѣкъ мятущійся, онъ все начинаетъ и ничего не кончаетъ; у него есть цѣлыя груды первыхъ страницъ предполагаемыхъ сочиненій, но до послѣднихъ страницъ дѣло никогда не доходитъ. То онъ дѣлается учителемъ гимназіи, то входитъ въ компанію съ другимъ лишнимъ человѣкомъ, чтобы сдѣлать какую-то рѣку судоходной; то занимается агрономіей и т. п.—вѣчная исторія лишнихъ людей! «Выдержки во мнѣ не было, сознается въ концѣ концовъ самъ Рудинъ;—строить я никогда ничего не умѣлъ: да и мудрено, братъ, строить, когда почвы-то подъ ногами нѣту»... (IV, 425). Почвы подъ ногами дѣйствительно не было—въ этомъ была вина эпохи и системы оффиціального мѣщанства; но не было и выдержки въ Рудинѣ, хотя это была не вина его, а бѣда его (по выраженію Чернышевскаго). Выдержки не было, ибо была раздвоенность реалистическихъ тяготѣній и романтическихъ порывовъ; была ненависть къ мѣщанству и были налицо мелкія мѣщанскія черточки. Отъ раздвоенности происходила и слабость лишнихъ людей: полное неумѣніе вѣрно направить свои силы, при желаніи во что бы то ни стало пустить ихъ въ дѣйствіе. Въ этой *активной слабости*—еще одна черта, характерная для лишняго человѣка, въ противовѣсъ *пассивной силѣ* мѣщанской толпы.

Смѣсь мѣщанства и анти-мѣщанства отмѣчалась нами уже выше. Рудинъ краснорѣчивъ, увлекаетъ многихъ своими словами, способенъ произвести сильнѣйшее впечатлѣніе. «Онъ говорилъ мастерски увлекательно, но не совсѣмъ ясно»—якобы отъ обилія мыслей (IV, 334), а въ дѣйствительности отъ того отсутствія почвы, которое мѣшаетъ Рудину имѣть опредѣленный фундаментъ. Вслѣдствіе этого, конечно, «слова Рудина такъ и остаются словами и никогда не станутъ поступкомъ» (IV, 359), развѣ только случайная вспышка завлечетъ его за предѣлы словъ; тогда онъ можетъ честно и красиво умереть на баррикадѣ съ краснымъ знаменемъ въ рукѣ (IV, 436). Но это только вспышка. Вообще же говоря—его тоже «рефлексія заѣла», и въ этой его книжности, въ этомъ отсутствіи непосредственности отчасти сказалось вліяніе системы и эпохи оффиціального мѣщанства. У него

есть «проклятая» привычка—«каждое движеніе жизни, и своей, и чужой, прищипывать словомъ, какъ бабочку булавкой» (IV, 367); у него часто интеллектъ превалируетъ надъ инстинктомъ, и, быть можетъ, отчасти вѣрно то замѣчаніе, что Рудина, какъ китайскаго болванчика, постоянно перевѣшивала голова; Тургеневъ подчеркиваетъ въ немъ еще мѣщанскую черту безстрастія (IV, 387).

Чтобы покончить съ немногими чертами, роднящими Рудина съ мѣщанствомъ, скажемъ еще объ его эгоцентризмѣ, на который совершенно вѣрно указываетъ Мефистофель романа, Пигасовъ. «Скажетъ я,—говоритъ онъ про Рудина,—и съ умиленіемъ остановится... Я, молъ, я»... (IV, 353). Онъ чувствуетъ себя выше другихъ людей (IV, 337) и конечно отчасти имѣетъ на это право, такъ что неудивительно, что свою личность онъ ставитъ центромъ всего. Но надо замѣтить, что въ Рудинѣ нѣтъ ни центробѣжности мѣщанства, ни центростремительности индивидуализма; онъ и здѣсь является чѣмъ-то среднимъ пропорціональнымъ. Ничтоже сумняшеся онъ называетъ себя гениемъ (IV, 356), но въ то же самое время, выставляя свою личность на первый планъ, онъ жестоко осуждаетъ мѣщанскую узость и эгоизмъ, видящій свѣтъ только въ своемъ окошкѣ. Для него себялюбіе—самоубійство, самолюбіе—источникъ всего великаго; «человѣку надо надломить упорный эгоизмъ своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать» (IV, 332).

Слабость Рудина ярче всего сказала въ его исторіи съ Натальей: мы здѣсь имѣемъ постоянное у Тургенева столкновение слабого мужчины съ сильной женщиной. Вотъ когда сказалось все мѣщанство, все безличіе, вся безхарактерность Рудина. Н. Н. читалъ Асѣ нотации изъ кодекса мѣщанской морали, Рудинъ даетъ Натальѣ знаменитый совѣтъ—«покориться» (IV, 390). У него нѣтъ силъ идти на сознательную борьбу съ людьми, со взглядами эпохи, съ мѣщанской моралью; и онъ остается одинокимъ всю свою безпріютную жизнь. Кстати замѣтить, что одиночество—постоянная черта мѣщанъ-эгоистовъ, въ родѣ дядюшки Адуева; но оно не имѣетъ ничего общаго съ одиночествомъ лишннихъ людей. Мѣщане одиноки отъ эгоизма, лишніе люди—отъ слабости воли; однако основаніе этому общее и лежитъ въ эпохѣ и системѣ официальнаго мѣщанства. Эгоизмъ—прямое дѣтище этой угнетающей и обособляющей личность системы; слабость лишннихъ людей имѣетъ свое основаніе тамъ же. Отсюда ихъ одиночество—одиночество чувства, мысли. Поэтъ той эпохи мѣтко охарактеризовалъ это двумя-тремя строками:

Есть у насъ люди, а общества нѣтъ:
Русская мысль въ одиночку созрѣла,
Да и гуляетъ безъ дѣла.

Такое одиночество было участіемъ всѣхъ лишнихъ людей, было участіемъ и Рудина.

Несмотря на наличность нѣкоторыхъ черточекъ мѣщанства, какъ однако безконечно далеки отъ него Рудины! Свое мѣщанство они испукали самосознаніемъ, они казнили себя—и казнь эта не всегда доставляла имъ мучительную радость горечи. Рудинъ съ ужасомъ сознаетъ (IV, 404—406), что въ немъ неразрывнымъ узломъ связано мѣщанство съ индивидуализмомъ, — и, быть можетъ, въ этомъ сознании худшее проклятіе жизни всѣхъ лишнихъ людей. Это роковое сплетеніе индивидуализма съ мѣщанствомъ ясно бросается въ глаза и представляетъ изъ себя ту загадку, которую не могъ разрѣшить товарищъ Рудина, Лежневъ: «ты для меня былъ всегда загадкой,—сознается онъ;—даже въ молодости, когда, бывало, послѣ какой-нибудь мелочной выходки ты вдругъ заговоришь такъ, что сердце дрогнетъ, а тамъ—опять начнешь... даже тогда я тебя не понималъ» (IV, 433). Для насъ теперь эта загадка рѣшена, такъ какъ мы знаемъ, что Рудинъ представлялъ собой нѣчто средне-пропорціональное между мѣщанствомъ и индивидуализмомъ. А что въ Рудинѣ есть общающіе задатки индивидуализма, это — несомнѣнно, это высказываетъ и самъ Тургеневъ устами того же Лежнева (IV, 415). Рудинъ — не мелкій человѣкъ, говоритъ Лежневъ, «въ немъ есть энтузіазмъ... Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, мы застыли—и спасибо тому, кто хоть на мигъ насъ расшевелитъ и согрѣетъ»... Въ этомъ отношеніи Рудинъ полная противоположность всѣмъ этимъ разсудительнымъ, равнодушнымъ и вялымъ Адуевымъ, Штольцамъ и прочей мѣщанской компаніи. Не-мѣщанинъ Рудинъ умѣетъ остаться нищимъ (IV, 416, 427), въ то время какъ добродѣтельные мѣщане, округляя поменьку свои капиталы, то домикъ выстраютъ, то купятъ деревеньку; въ то время какъ эти добродѣтельные мѣщане пробиваютъ себѣ дорогу къ благамъ міра своей пассивной силой, Рудинъ погибаетъ отъ своей активной слабости. То отсутствіе выдержки, та разбросанность, которая составляютъ характерную черту лишнихъ людей, являются полной противоположностью выдержкѣ и разсудительности мѣщанства, конечно, если смотрѣть въ корень, то не трудно увидѣть, что пассивная сила мѣщанъ и активная слабость лишнихъ людей коренились обѣ въ системѣ и эпохѣ официальнаго мѣщанства, но одна и та же причина въ двухъ различныхъ средахъ дала различныя слѣдствія. Вотъ

почему отсутствіе выдержки, разбросанность такъ характерны для антимѣщанства лишнихъ людей, будучи въ то же время слѣдствіемъ системы оффиціального мѣщанства. Когда всѣ пути были заказаны и всѣ дороги перерѣзаны, то человѣку, не желающему примириться съ разсудительнымъ мѣщанствомъ, только и оставалось бросаться во всѣ стороны, искать выхода. Не многіе нашли его; не нашелъ его и Рудинъ, но за это жестоко бросать въ него камнемъ осужденія. Рудинъ, какъ и многіе лишніе люди,—жертва вечерняя тяжелаго хода русской исторической жизни; не надо забывать этого... Вотъ уже третій разъ русскому интеллигенту пришлось играть роль жертвы вечерней: въ первый разъ пострадала интеллигенція XVIII-го вѣка въ борьбѣ за соціальные идеалы; затѣмъ погибли декабристы въ борьбѣ за идеалы политическіе; теперь, какъ слѣдствіе этого, гибли лишніе люди, гибли Чацкіе, Онѣгины, Печорины, Бельтовы, Рудины въ гнетущей атмосферѣ эпохи оффиціального мѣщанства.

Конечно, это только, такъ сказать, внѣшняя сторона истины; внутренняя ея сторона лежитъ неизмѣримо глубже: она лежитъ въ той раздвоенности между реалистическими и романтическими элементами сознанія, которую мы уже видѣли у Лермонтова. Умъ съ сердцемъ не въ ладу не у одного Чацкого, но и у всѣхъ лишнихъ людей; борьба интеллекта съ инстинктомъ по существу тождественна противорѣчію между реалистическими тяготѣніями и романтическими порывами: это то же самое, выраженное *nur mit ein bischen andern Worten*. Но раздвоенность эта никогда не восходила до сознанія лишняго человѣка: онъ всегда смутно чувствовалъ весь безысходный трагизмъ своего положенія, но никогда не могъ формулировать и понять всего вопроса во всей его сложности.

Что же такое въ концѣ концовъ представляютъ изъ себя лишніе люди? Это ни павы, ни вороны крыловской басни: отъ воронъ они отстали, а къ павамъ не пристали; отъ мѣщанскаго берега адуевщины они отчалили, но до берега индивидуализма не доплыли, и остались гдѣ-то между небомъ и землей, безъ руля и безъ вѣтриль. Они всегда имѣютъ возможность войти въ болотистую бухту мѣщанства, но съ ужасомъ бѣгутъ «вонъ изъ мирной, тихой пристани, гдѣ только плѣсень зеленая, тина мягкая, да квакающія лягушки,—дальше отъ нихъ туда, гдѣ только волны да небо»... (слова Бѣлинскаго). Однако, помимо своей воли, помимо своего желанія лишніе люди во многомъ подчиняются вліянію мѣщанства эпохи и усваиваютъ себѣ многія его черты, иные въ большей, иные въ меньшей степени; они являются поэтому чѣмъ-то среднимъ пропорціональнымъ между индивидуализ-

момъ и мѣщанствомъ. Въ этомъ ихъ вторая раздвоенность, настолько же неразрѣшимая и трагическая, какъ и первая; неразрѣшимая главнымъ образомъ вслѣдствіе слабости лишнихъ людей.

Лишніе люди—слабые люди, одинаково отличающіеся этимъ своимъ качествомъ какъ отъ типичныхъ мѣщанъ, такъ и отъ дучшихъ представителей русской интеллигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Эти лучшіе люди отличались *активной силой*, они боролись за права человѣка и общества, они сознательно шли на страданія, на гибель—и не уступали ни пяди дороги. Мѣщане—это толпа; они не ведутъ, они *идутъ за*, и въ этомъ ихъ страшная *пассивная сила* стада. Лишніе люди пробуютъ вести впередъ, но въ этой ихъ активности сейчасъ же фатально сказывается ихъ слабость: не окончивъ призыва впередъ, они ступшеваются въ рядахъ мѣщанской толпы до новой вспышки (ср., напр., исторію Рудина съ Натальей и его совѣтъ «подчиниться»). Эта *активная слабость* лишнихъ людей, о которой мы уже говорили выше, тѣсно связана съ ихъ раздвоенностью, составляющей основную объясняющую черту этого типа.

Каково значеніе, какова роль лишнихъ людей въ исторіи эволюціи русской интеллигенціи? Роль эта была громадна и въ ихъ борьбѣ съ мѣщанствомъ, и въ ихъ борьбѣ за индивидуализмъ. Лишніе люди были передаточной инстанціей въ невольной пропагандѣ среди широкихъ круговъ публики идей главныхъ представителей русской интеллигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ; они образовали новые кадры грядущей разночинной интеллигенціи и бессознательно подготовляли почву для расцвѣта идей эпохи великихъ реформъ. Въ то время, когда они работали,—а мы видѣли, что лишніе люди густой толпой появились только въ эпоху террора системы оффиціального мѣщанства,—политическіе и соціальные вопросы были совершенно изъяты изъ употребленія средняго російскаго обывателя; поэтому и лишнимъ людямъ пришлось ограничиться вопросами личной морали. «У насъ, русскихъ,—заявляетъ одинъ изъ лишнихъ людей у Тургенева (VI, 158),—нѣтъ другой жизненной задачи, какъ опять-таки разработка нашей личности, и вотъ мы, едва возмужалыя дѣти, уже принимаемся разрабатывать ее, эту нашу несчастную личность»... Иными словами—работа лишнихъ людей не выходила изъ чисто теоретической области; они были людьми слова, за что ихъ неоднократно и осуждали. Но не намъ бросать въ нихъ камнемъ. Надо помнить, что они сѣяли доброе сѣмя въ эпоху всеобщаго разложенія и подавляющаго мѣщанства: слово ихъ было ихъ дѣломъ. Правда, они сами не избѣжали во многомъ пагубнаго вліянія этого мѣщанства, они

были только среднимъ членомъ отношенія между мѣщанствомъ и индивидуализмомъ, но и это было уже не мало въ эпоху полного торжества мѣщанства и безличія. Упрекать ихъ въ бездѣтельности—глубоко несправедливо; можно отвѣтить на это словами Герцена: «что такое дѣло?... По-моему, служить связью, центромъ цѣлага круга людей—огромное дѣло, особенно въ обществѣ разобщенномъ и скованномъ»... («Былое и думы»; II, 126). Эту роль сыграли лишніе люди. Въ эпоху темной власти мѣщанства они первые вступили въ борьбу съ мѣщанствомъ содержанія и послужили связующимъ звеномъ лучшихъ завѣтовъ прошлаго русской жизни и сознанія съ наступавшими шестидесятыми годами. Тотъ анти-мѣщанскій взрывъ, которымъ ознаменовались шестидесятые годы, — взрывъ, охватившій всѣ горизонтальные слои и вертикальныя раздѣленія общества, не могъ бы произойти безъ предварительной незамѣтной работы лишнихъ людей. Лишніе люди были тѣмъ ферментомъ разложенія мѣщанскаго уклада и мѣщанскихъ идеаловъ, который въ теченіе цѣлага десятилѣтія просачивался во всѣ поры торжествующаго мѣщанства и безсознательно способствовалъ его разложенію. Съ этой точки зрѣнія роль лишнихъ людей громадна; они явились искупительной жертвой русской интеллигенціи системѣ и эпохѣ официального мѣщанства; всѣ они, не сознавая того, полегли костью за дальнѣйшее развитіе индивидуализма и на рѣшительную погибель мѣщанству. «Даромъ ничего не дается—судьба жертвъ искупительныхъ просить»...

Конечно, не ко всѣмъ лишнимъ людямъ примѣнимо все это: мы говоримъ только о наиболѣе яркихъ и положительныхъ типахъ, въ родѣ Бельтова, Рудина и имъ подобныхъ. Говоря о нихъ, можно совершенно серьезно употребить ироническую фразу Чернышевскаго: лишніе люди—лучшіе люди. Это дѣйствительно такъ и есть. Лишніе люди—лучшіе люди своего времени, и на нихъ мы легче всего можемъ увидѣть, что дѣлала съ лучшими людьми эпоха официального мѣщанства: прямымъ слѣдствіемъ этой эпохи явились мѣщане, обратнымъ — лишніе люди. Лучшіе люди обращались въ лишнихъ людей подъ давленіемъ убивающей личностъ эпохи; но эпоха эта не могла убить ихъ ненависти къ мѣщанству, хотя изломала ихъ совершенно въ другихъ отношеніяхъ. Лишніе люди сдѣлались безсознательными (а иногда и сознательными) проповѣдниками анти-мѣщанства, а потому совершенно понятна ихъ роль, ихъ значеніе въ эволюціи индивидуализма въ русской жизни и литературѣ.

Какова была судьба лишнихъ людей? Что съ ними стало въ слѣдующія десятилѣтія? Большинство изъ нихъ легло костью до на-

стуцленія шестидесятыхъ годовъ; оставшіеся же въ живыхъ на голѣ брани не остались на немъ побѣдителями. Ихъ роль была уже сыграна самимъ процессомъ борьбы. Вмѣстѣ съ шестидесятыми годами пришелъ разночинецъ, и только немногіе изъ лишнихъ людей пристали къ нему—слишкомъ различны были ихъ міровоззрѣнія. Послѣ 1861 года лишніе люди мало-по-малу обращаются въ «кающихся дворянъ»—и мы еще будемъ имѣть случай прослѣдить за эволюціей этого типа.

Окончательный выводъ: лишніе люди были лишними не по отношенію къ обществу, а только по отношенію къ самимъ себѣ. Они не сьумѣли примирить реалистическихъ и романтическихъ элементовъ своего духа, не сьумѣли переплыть отъ мѣщанства къ индивидуализму, не сьумѣли стать побѣдителями въ борьбѣ за индивидуальность, т.-е. приспособить къ себѣ среду. Поэтому они и были лишними сами для себя. Но для общества ихъ значеніе громадно: они и только они помогли высшей части русской интеллигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ создать новые кадры дѣятелей взамѣнъ погибшихъ въ годъ декабрьской революціи. Поэтому лишніе люди занимаютъ почетное мѣсто въ исторіи борьбы русской интеллигенціи за права человѣческой личности, за общественность и индивидуализмъ противъ мѣщанства.

Знакомствомъ съ лишними людьми мы закончимъ обзоръ эпохи оффиціального мѣщанства и больше не будемъ къ ней возвращаться. Это не значитъ, чтобы вмѣстѣ съ 1855 годомъ отошла въ вѣчность и система оффиціального мѣщанства; далеко нѣтъ; послѣ свѣтлаго промежутка такъ называемой эпохи великихъ реформъ, начиная съ 1866 года, система оффиціального мѣщанства снова начинаетъ мало-по-малу возвращаться въ русскую жизнь, а съ 1881 года опять воцаряется на новую четверть вѣка... Но это второе царствованіе системы оффиціального мѣщанства не внесло собой ни единого новаго слова: оно было только повтореніемъ перваго, ибо во вторую четверть XIX-го вѣка система эта, это «бюрократическое мѣщанство» исчерпало себя до дна; да и дѣйствительно, едва ли можно придумать разнообразныя варіаціи на такую убогую тему, какъ «не разсуждать—повиноваться!»—этотъ лейтъ-мотивъ эпохи оффиціального мѣщанства...

Но довольно: пора выйти изъ этого затхлаго подполья на чистый воздухъ...